

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО/  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ

8

1 9 2 5

---

# СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕННА, 24 (вход с Селиверстовского пер.). Тел. 4-58-22.

## ПРИЁМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., уши., носов. . . . .	с 9-8.	Лечение гипнозом. . . . .	с 10-1; 3-8.
Венерич. и мочепоп. . . . .	" 9-8.	Туберкулез легких. . . . .	9-12 и 6-8.
Хирургические. . . . .	" 9-8.	Внутренние. . . . .	с 9-8.
Желские и акуш. . . . .	" 9-8.	Детские. . . . .	" 9-8.
Глазные (подбор очков). . . . .	" 9-8.	Кожные. . . . .	" 9-8.
Желудочные. . . . .	9-10 и 12-2.	Лечение угрей и пятен. . . . .	" 9-8.
Болезни сердца. . . . .	с 12-1.	Леч. волос (выпад., перхоть). . . . .	" 9-8.
Нервн. и душевн. . . . .	" 9-8.	Испр. запад. носа. . . . .	с 10-12 и 5-8.
Болезни мочевых путей (мочев. пузырь, лоханок и почек) с 9-11; 4-8.			

АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока.

**ЗУБОВРАЧЕБ. ОТД.:** лечен., пломбир., удаление, искусств. зубы 8-8 ч.; хирургич. полости рта (бол. десен) 1-2 ч.

**РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБ.:** снимки, просвечив., лечение бол. кожи с 11-1 ч.

**ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБ.:** все виды электролечения, ванны (солян. и углекисл.) с 9-8.

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскр. и праздн. прием с 10-2 ч.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ

## ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ,

б. О-ва русских врачей, сущ. с 1861 г. Арбат, 25. Тел. 3-70-85.

### ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Внутренние. . . . .	10-8.	Хирургия. . . . .	10-12; 2-7.
Кожно-венер. . . . .	3 1/2-6.	Женск., акуш. . . . .	11-7.
Ухо, горло, нос. . . . .	3-7.	Нервные. . . . .	10-1; 2-4; 7-8.
Детские. . . . .	11-7.	Зубные и искусств. зубы. . . . .	10-7.
Мочеполовые. . . . .	12-3; 7-8.	Туберкулез костей и суст. . . . .	4-5.
Глазные. . . . .	5-7.	Ортопедия. . . . .	вт. четв. и субб. 7-8.

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания, лечение. Анализы: крови, мочи, мокроты, желудочного сока и др. По воскрес. прием с 11-3.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ

## СТАРО - ТРИУМФАЛЬНАЯ Д-р ШЕНФЕЛЬД.

### ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверской, д. 2/70, тел. 5-94-40.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ, КОНСУЛЬТ. ПРОФЕС.

Внутр., детские 10-2; 4-8	Хирургические . . . . . 2-4
Конн.-в. и мочепоп. . . 9-9	Женские и акушер. . . 9-8
Туберк. горла 10-2; 5-8	Нервные (гипноз) . . 6-8
Глазные . . . 9-10; 4-5 1/2	Туберкулез легких . . 4-6
Влив. Сальварсана «914»	Зубные . . . . . 9-8

Вызов врачей.

Больш. Дмитровка, 12, кв. 8.  
 Спец. НЕРВНЫЕ  
 и МОЧЕПОЛОВЫЕ  
 10-1 ч. и 4-7.  
 по праздникам 10-1.

**Д-р ВОЛОДАРСКИЙ.**  
 Покровка, д. 19, кв. 21. Т. 2-32-45.  
 Кожные, венер., сифилис,  
 мочеполовые и нервные.  
 Прием 9-1 и 4-9.  
 Праздн. 12-2.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ  
 ЖУРНАЛА

## „КРАСНАЯ НИВА“

Вышла из печати и разослана подписчикам журнала  
 „Красная Нива“ 4-я книга сочинений С. Под'ячева

## „ПРАВОСЛАВНЫЕ“

Вышел из печати и рассылается подписчикам „Крас-  
 ной Нивы“ альбом

## „ИСКУССТВО В БЫТУ“

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

АВГУСТ.

№ 8.

---

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
А. С. Грин.—Золотая цепь, роман . . . . .	3
С. Алякринский—Огульное доение, рассказ. . . . .	40
Глеб Алексеев.—В вагоне, рассказ. . . . .	52
Стихотворения: И. Обрадович. Сергей Малашкин. В. Александровский. Георгий Хвастунов. . . . .	66
Андрэ Марти.—Черноморское восстание (воспоминания). . . . .	70
М. Брагинский.—Пять лет борьбы. . . . .	88
Л. Гроссман.—Крепостные поэты. . . . .	104
Я. Тугендхольд.—Искусство СССР и национальный элемент. . . . .	119
Проф. М. И. Неменов.—Рак, теория его происхождения и его лечение. . . . .	125
По Советской земле.—Н. Колоколов.—I. Вглуши. II. Уральские рудники . . . . .	133
Библиография. . . . .	148

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА — 1925



# Золотая цепь.

Роман *А. С. Грина*.

## I.

**Д**ул ветер...

Написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн; на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом и, лежа один в кубрике, с окном, заткнутым тряпкой, при свете украденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазаря Норман, расписался двадцать четыре раза, с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова:

«Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит эта пчела-грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал: так ли уже глупы эти слова: «Я все знаю»,

затем развеселился и стал хохотать,—понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчок, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет,—возразил Патрик,—он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал,—заговорил ленивый, укравший у меня складной нож, Каррель-«Гусиная Шея»,—что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу,—заявил Болинас; повар,—иначе, так, сразу, не построишь дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с Дыркой»?—осведомился Патрик (это было мое прозвище, которое они дали мне),—у Санди Пруэля, который *все знает*.

Гнусный,—о, какой гнусный смех был ответом Патрику! Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие: в горле как-будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его сын сидели в трактире, но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только-что слышанный разговор. Он встревожил меня,—как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пень.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами. «Почему же ему так повезло,—думал я,—почему?».

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу,—с 17-го октября, когда я поступил на «Эспаньолу», по 17-ое ноября, то-есть, по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуть разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены», утопленное дубовое ведро, которое я же

сам, по требованию шкипера, украл на палубе «Западного Зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое—все мной—стекло паюхоты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос: кто я:—мальчик или мужчина? Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина»,—мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь,—она сказала: «ну-ка, посторонись, мальчик!»—то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй, вы, мясо акулы!». Если же я мужчина, что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя», то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неудобно. Выл ветер.—«Вой!»—говорил я, и он выл, как-будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь.—«Лей!»—говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно,—не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь, умру, и мое неприкаянное тело...

## II.

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходим. Голос сказал:

— Никого нет на этом свином корыте.

Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа.

— Все равно, — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине.

— Ну, кто там?—громче сказал первый, — в кубрике свет; эй, молодцы!

Тогда я вылез и увидел, — скорее различил, в тьме двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странно, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я сказал бы густо, окладисто, с хрипотой, что-нибудь отчаянное, например:

«разорви тебя ад!»—или «пусть перелопаются в моем мозгу все троссы, если я что-нибудь понимаю!»

Я об 'яснил, что я один на судне, и об 'яснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае,—заявил спутник высокого человека,— не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик-песня-шопот: «Тайна,—очарование! Тайна—очарование!»—«Неужели *началось?*»—спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей,—они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди»—подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились,—каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским,—увы!—имел небольшие усы, темные, пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был, на вид, слабее первого, но хорошо подбочивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг,—сказал старший,—как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом!—ответил я,—что-ж? поговорим, чорт поberi!

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что вас или считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал об 'яснения в форме, достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну,—сказал первый,—мы не хотим обижать те'я. Мы засмеялись потому, что немного выпили.—И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньоль»,—я хорошенько не понял,—так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали,

благодаря, этому, на пароход «Стим»; единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка», — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший; которого звали Дюрок, — отнимет два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо: чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, — сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить с шкипером, — сказал я и вылезался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону: «вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива; ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро об'явит тебя героем и гением, когда, с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будет две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду; потом скажет, что ему надо пойти посоветываться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие, и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать».

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О, нет! — сказал Эстамп, — но мы... гм... слышали о нем. И так; Санди, плывем.

«Плывем... О, рай земной!» — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правдой, и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту, и торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с под'емной реей, снял швартовы, поставил кливер; и когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, при чем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и, как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату:

— То ли это место, или нет? Не пойму.

— Верно, то,—должен сказать брат,—это то самое место и есть:—вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление это предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку; а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная, плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул как хорошая помада. Его бархатная куртка была растегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая—под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе наполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне нехватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирали) и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стакан.

— Клянусь брамселем,—сказал я,—славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело!—сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте,—донесся ответ.—Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой,—крикнул, полуобернувшись, Дюрок.—Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел с стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов,—сказал я с скромной гордостью. На самом деле, никакой семьи у меня не было.—Море и ветер,—вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер,—

сказал он, подавая мне папиросу.—Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить,—ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности,—сказал, улыбаясь, Дюрок.— Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я, как мог взросло, покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга, Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты и множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать,—ответил Дюрок рассеянно.—Боюсь, что нам будет не до тебя.—Он повернулся к окну и крикнул:— Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочевенные руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю,—переспросил я,—пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как!!—сказал Эстамп,—а я думал, что ты подаришь что-нибудь своей *душеньке*.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька,—вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня,—лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязенькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем непохож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда называл меня, может быть, по рассеянности, «Томми»,—и я басом поправил его, сказав: «Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!».

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захочетав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал:

— Каково! ее зовут Лукрецией, ах, ты, волокита! Дюрок; слышите?—закричал он в окно,—подругу Санди зовут Лукрецией!

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп,—ответил Дюрок.

Новое унижение!—от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдержнул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молчал и, надувшись, смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал «поворот!». Мы вскочили и перенесли паруса к левому борту. Как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода.

— Так держать;—сказал Дюрок, указывая румб, и я молодецкато ответил:

— Есть, так держать!

Теперь оба они были в каюте и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон, он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я попрежнему торопился доплыть, чтобы, наконец, вызнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел. Огонь его папиросы направился ко мне и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну; что, — сказал он, хлопая меня по плечу,—вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом?—спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы итти к небольшой бухте, и когда это было, наконец, сделано, я увидел, что мы на-

ходимся у склона садов или роц, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймавший причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет,— вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, резко, болезненно весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что, Ганувер?—спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего.—Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне; затем вам предстоит путешествие.—И он объяснил, куда отвести судно.—Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп; ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось,—он рухнет и раздавит меня.

### III.

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломенку,—пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды:

— Ты капитан, что ли?—сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть.—У, какой синий! Замерз?

— Чорт побери!—сказал я,—и замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.—Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая лучшая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся,—словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега, по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную, прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блеснул свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фа-

сада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм; когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени,—как мы прошли дальше,—указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я, как-будто, попал на шумную площадь.

— Поймай-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной и прибором миндаля подлетел к моим ногам, в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и пробороздили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав кулаком в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих и орущих людей не уловил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко: мы пересекли угол кухни и, через две двери, поднялись в белый коридор, где, в широком помещении без дверей, стояло несколько коек и простых столов. Грохот не бил здесь так в уши, слабее доносился сюда. — Я думаю, нам не мешают, — сказал Том, и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, постепенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. — Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а, главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек со

сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было некуда сунуть на себе, — прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться, куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то, очень внимательно, — про себя, — как, взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку, — а знаешь ли ты, что ты — парень с гвоздем? Вот ловко! Джебн, взгляни сюда: тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю!»

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные горячие об'яснения — в чем дело? — я только поворачивался, взглядом разя насмешников. Человек десять набилось в комнату. Стоял гам:

— Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек. Как варят соус тартю? Эй, эй: что у меня в руке? Слушай, моряк: любит ли Тильда Джона? Ваше образование: об'ясните течение звезд и прочие планеты! — Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: — Попочка, не знаешь ты, сколько трижды три?

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, немного надо, чтобы, забыв все, я рванулся, в кипящей тьме неистового порыва, дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: — Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался. — Мир посинел для меня и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся, — горсть золота, — швырнул ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас расвеселясь, рассказал какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова,—сказал Том,—покажи руку, Санди, что там? ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома, Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги,—сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку.—Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак,—сказал я.—Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня!

— Так... а все-таки может быть хорошо все знать.—Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи,—куртка, брюки, сапоги и белье,—были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете,—сказал Поп,—пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек,—прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю,—сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я—на него. Что-то мелькнуло в его глазах,—искра неизвестных соображений.

— Это хорошо, да...—сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда, подведя меня за рукав к столу, Том указал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли,—я не понимал, хотя с'ел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался, вместе с едой, усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнуло чувство сопротивления и вопрос: «а что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо готовых подхватить «вилку», выйду и вернусь на «Эспаньолу», иде на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «не раз'ясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотиться ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло;—напротив, случай, или как там ни называть это,—продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей

под моими ногами. За стеной,—а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход,—несколько человек, остановаюсь или сойдуся случайно, вели разговор; непонятный, но интересный,—вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну, что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя, а все пьют,—такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе, или просто амуры, а может быть он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «сердце у вас здоровое. Вы, говорит; очень здоровый человек, не то, что я».

— Значит, пей, значит, можно пить, а всем известно; что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите,—хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком! А завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, и я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрыты, но, проходя все этажи, нигде ничего нет.

— Да. Поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло; как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что никто вас не видит. А видел,—и он клянется,—Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухорвертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем до сада, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику; заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник Тома подошел ближе, чем Том. Матрос остановился у входа, сказав:

— Да, не узнать парня. И лицо стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу!

Паркер был лакей,—я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, стриженный, слегка лысый, плотный, человек этот, в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты доброй старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс? Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет,—сказал он,—но я не в духе и буду придираяться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отвлекать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где, за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взираясь по ней, Паркер дышал хрипло и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронuto чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений, пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец, Паркер остановился, расправил плечи, и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть,— вот он,— затем исчез. Я обернулся,—его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди,—устало сказал кто-то.

Я огляделся, заметив, в туманно-синем, озаренном сверху,

пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам, с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите»,—я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом. Они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа, в большой качалке, полулежал человек, лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя,—немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как-будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями?—произнес закутанный человек, морщась и протирая висок.—Они, как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел,—не сразу, так как оно все подавалось и подавалось подо мной, но, наконец, укрепился.

— Итак,—сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином,—ты любишь «море и ветер»?!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?!—сказал Ганувер молодой даме.—Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один—нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопеньем. Второй был старше, плотен и брит, и носил очки.

— Волны и эскадрильи!—громко сказал первый, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом.—Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался,—с несколько мрачным лицом,—безучастен к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж,—сказал он, кладя мне на плечо руку,—Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем,—сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне,—легонько подсмеиваясь или серьезно, я не разобрал. Лишь некоторые слова, в роде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напились?

— Ну, как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признайся, «огненная вода»? «Клянусь Лукрецией!»,—вскричал он; честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает»,—честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома,—иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется,—тем хуже для них: опаздывая, они быть может рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некой истории, концы которой запряты. Поэтому, не переводя духа, сдвоенным голосом, настолько выразительным, чтобы каждый намек достиг цели, я встал и отпарторвал:

— Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное,—здесь я разорвал Попа глазами на мелкие кусочки, как бумажку,—я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама пристально посмотрела на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится,—сказал Ганувер,—однако не надо есориться, Санди.

— Посмотри на меня,—сурово сказал Дюрок.

Я посмотрел, увидев совершенное неодобрение, и рад был провалиться сквозь землю.

— С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянув на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, любопытно смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «ба!» и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди,—сказал он.—Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех, здесь собравшихся, некий очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей,—но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний,—значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что *те* невидимые лучи *состояний* отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа, и он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер,—сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая, немного больная улыбка. Он всматривался так, как-будто хотел порыться в моем мозгу, но, по всей видимости, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать...—Он не договорил, что разбирать.—Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери своим поверенным вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ.

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики.

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме, с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

## IV.

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания итти на носках,—так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда»,—«сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке,—круглой зале, яркой от света огней в хрупком, как цветы, стекле,—мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть,—каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились,—сказал он,—похитили судно; славная штука, честное слово!

—Едва ли я рисковал,—ответил я,—мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины.—Поп подвел меня к столу с книгами и журналами.—Не будем говорить сегодня о библиотеке,—продолжал он, когда я уселся.—Правда, что я за эти дни все запустил,—материал залежался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрк и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же,—сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу.—Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом—«Всадник без головы»...

— Простите,—перебил он,—я заговорился, но должен итти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу или лучше послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я, и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках,—сказал Поп.—Имя хозяйина—Эверест Ганувер, я—его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть,—вскричала я,—что болтовня на «Мелюзине»—сущая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить,—сказал Поп, что относительно Ганувера все это выдумка, но верно то, что такого другого дома нет

на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали, к тому. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное»,—подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я,—сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил:—а вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все—люди серьезные, и никогда не шутим в делах,—сказал он, видя, что я, смущенный, отстал.—Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я, как раз, так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность,—например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что, я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь,—сказал Поп,—оглядывая помещение.—Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть, сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О, да,—сказал я, нервно хихикнув.—Пожалуй, что так. И чемодан, и все прочее.

— У вас много вещей?—благосклонно спросил он.

— Как-же—ответил я,—одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?..—Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка...—Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить, если вы пстянете шнур один раз,—по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза—обед, три раза—ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить, когда угодно, пользуясь этим телефоном.—Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: «Алло! Что? Ого, да здесь новый жилец».—Поп обернулся ко мне:—Что вы желаете?

— Пока ничего,—сказал я с стесненным вдоханием.—Как же едят в стене?

— Боже мой!—Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12.—Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно как для вас, так и для слуг... Решительно уйду, Санди. Итак, вы—на месте и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

## V.

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Почикиванье часов вело с тишиной многозначительный разговор.

Я сказал: — «Так. Здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумывать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. — «Чорт побери», — сказал я, наконец, труясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал с жаждой вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: «Кресло. Диван. Стол. Шкаф. Ковер. Картина. Шкаф. Зеркало». — Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, — тридцать пять золотых монет, — но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить об его величии. Явилось предположение некоей мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где, при свете факелов, люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям, — по словице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам, шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений; холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей: «Никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, мелнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, — новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как

в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя встать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон,—в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст,—спасительно пуст. Его глубина была достаточна, чтобы встать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы незвякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл дверь плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрояка, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я слышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ,—с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина,—догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнута громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь, действительно, никого нет, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных пружин оснований. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не сомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше, — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, — через нас. Но не говори Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее для будущего держать на втором плане.

— Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай. Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхватив книгу, перешла опять в сдержанный тон. — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказала Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше: не будь я так хорошо вышколена и выветрена,—в складках сердца где-нибудь мог бы зарестись этот самый микроб—страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае,—заметил Галуэй,—я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придадут твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше: «Вся надежда на тебя, дядюшка. «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего,—по моей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

— Мерси!

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкафа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятного все его подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щель двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода—куда?—хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо,—безрезультатно, в отчаянии,—с смелой надеждой, что пространство расширится. Наконец, я повернул ее влево. И произошло,—ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих?—произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только-что прослушанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было

по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Не произошло никакого шума. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

## VI.

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме,—сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований,—перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих надежду нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликованисм)—быть одному в таинственных, запретных местах. Если я чего опасался, то единственно большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди ради целей,—откуда мне знать,—каких?—беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением, и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться. Я испытывал огромное удовольствие, более,—глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втунявших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен, даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слышал ничего, кроме трения о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы ни согласно я действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя, и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, встала наследиться исследованиями. Как только искушение завляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногсшибательному соблазну. Ивдава страстью моею было бродить в неизвестных

местах, и я думал, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно,—чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра, да еще, пожалуй, дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так странно и узко смотреть, как в глубокий колодезь. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты,—двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным тайнствам.

Стены коридора были выложены снизу, до половины, горичневым кафелем, пол—серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен,—до кафеля,—на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это—узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины, низ сходит узкая витая лестница со сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние, от конца до конца прохода, в 250 футов, и, когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо, открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего, отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор,—они были во всем и совершенно равны. В подобном случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного такого же пустяка, чтобы решение куда идти выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую—правой, или наоборот. Странно сказать: я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно

прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда, колеблясь беспомощно: я чувствовал, как начинает подкрадываться уже, затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну монету и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась, и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевая второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так глупо расторясь, что еще слышал сердцебиение.

Однако, придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение еще замысловатее прежнего,—ход замыкался в тупик, то-есть, был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из таких ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако, когда я ее толкнул, она подалась, впуская меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений, я, разумеется, не мог знать, но, имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это??! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны, или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев, в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако, этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх, к самому стеклу, торчали, устремленные на меня, множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более дикие, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую

полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отекающая и кидаясь как мяч,—все их движения были страшны и дики. Цепеня, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я, как снова свалившись, понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтоб выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам, в виде мести за их пучеглазое навождение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал всю массу воды; значительная часть ее,—нижняя, была затенена снизу, отделяя сверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное гисачим растениям, привешенным к потолку. Надо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцырями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход имел мраморный пол из серых с синими узорами плит и был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянувшихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида: она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкафа, где можно было стать троиц. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды, но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то-есть, чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая,—кого или чего?—мне это предстояло узнать. Не менее внушителен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу сшибиться, но никак не рисую своей головой,—я поднял руку, намереваясь произвести опыт...

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным восбражение торопится предугадать результат, и я, уже

нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: «Где? Кто? Эй! Сюда!» представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил.—«Н-да-с!»—сказал я,—мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумаком, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», чтоб дали бутылку»... Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту, как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карляков,—седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко. Решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружилась, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одна другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, являсь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали в свою очередь разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, повидимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Знай я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему, представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, я с злобой прижал эту кнопку, думая: «будь, что будет». Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью,—по счету сверху,—и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем было это вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не

сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки, как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул,—конечно, случайно,—ту кнопку, какую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась, как вкопанная, против коридора на неизвестной высоте, и я вышел, пошатываясь.

Теперь, знай я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен, и направился, куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен; где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы,—не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли, был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох,—всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание. Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить,—действительно, шло несколько человек,—с какой стороны, разобрать я еще не мог; наконец, шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое: женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговора. Я прижался к стене спиной в сторону приближения и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это, или действительно было так; но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно,—я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх, и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились,—остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

## VII.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно большими глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвер-

нув наклоненную голову с печальным выражением лица и была очень хороша теперь,—лучше, чем я видел ее в первый раз: было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное,—из вежливости или расчета.

— В том, что неясно,—сказал Ганувер, продолжая о неизвестном,—я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий.—У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию.—Но у меня словно завязаны глаза и я пожимаю, непрерывно жму множество рук,—до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем, я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, *нечто*, не повторявшееся долго—лет десять, пока не стало натурально свойственным это состояние, которое сейчас опишу. Я стал представлять ощущения беседующих, не понимая, что держу *это* в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, соразмеряя длину паузы, ловя такт, сказать нужное не пропустив должного биения времени, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет *уже поздно*, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне; разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала, мое тройное ощущение—за себя и других—кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта, читаем мы, на расстоянии печатный лист, угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку, без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично,—сказала она, развеселясь и краснея,—мне очень, очень жаль вас. Без любви... это странно и хорошо.

— Без любви,—повторил он.—Быть может, она придет... Но и не придет, если, то...

— Ее замечит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь, — сказал Ганувер, — ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Оглично. Я — Аладин, а эта стена — ну, что вы думаете, что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь оживлением, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак... — Он поднял руку, что-то нажав, и невидимая сила подняла вертикальный стеной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шю, и нашёл, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату, праяая часть которой была от меня скрыта по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты-камеры, без окон, были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки, с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу, свободно раскинутыми петлями, лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, навойливый, как пение комара, и я догадался, что *это* — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, — засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый букарьер. Говорят, что он возил с собой поэта Каструччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6-го апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял. Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да,—объяснил Ганувер,—я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с ее якорем, чтобы удрать от английских судов, застигших его внезапно. Вот и следы,—видите, здесь рубили.—Он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено.—Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину, и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один? Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем,—сказал Ганувер, помолчав.—Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека, настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя... мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью на берегу при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала,—так *не к разговору* выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш... компаньон,—сказала она очень медленно,—оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем отпустил. Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер,—сказал Ганувер.—Это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распорядиться, как он хочет, моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалил мое золото, где хотел,—в нефти, камен-

ном угле, биржевом поту, судостроении и... и я уже забыл, где. Я только получал телеграммы. Как вам это нравится?

— Счастливая цепь,—сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. — Не могу.

Она выпрямилась. Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор, как я выкупил ее и спаял, вы—первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся странно тихо, дрожая и сверкая выполоз помраченный взгляд,—странный и глухой блеск. Только мгновение снял он. Дигэ опустила голову, тронув глаза рукой, и, вздохнув, выпрямилась; затем пошла, но пошатнулась и Ганувер поддерживал ее, вглядываясь с тревогой.

— Что с вами?—спросил он.

— Ничего, так... Я... я представляла трупы людей, привязанных к цепи, пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган,—сказал Ганувер.—Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его более пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли; стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее,—она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив в ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

«Так вот что»,—бессмысленно твердил я, выйдя, наконец, из засады и бредя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщины заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась передо мной, ползла по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос: кто знает—не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю;

иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако, моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владею мной, когда, почти падая от изнурения, подкрававшегося всесильно, я остановился у похожего на все остальные тупика, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв, гулом пошло грохотать по всем пространствам вверх и вниз. Я не удивился также, когда стена сошла с своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним—Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер. Лица обоих выглядели, как перед прыжком через огонь, и они бросились ко мне, втаскивая меня за руки и за ноги, так как я не мог встать. Среди возгласов я опустился на стул, смеясь (мною овладел нервный порыв) и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу,—проговорил я,—они женеются! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь-честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкаф и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен и—баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лягнуло о зубы. Я выпил вино во тьме свалившегося на меня сна, еще успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп. Санди скушал свою порцию: он утолил жажду необычайного. Бесплезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стэщит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову и курил.

## VIII.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее— быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину на его повороте:

— Я виноват.

— Санди,—сказал он, встретившись и садясь рядом,— виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в би-

библиотеке. Это для меня очень важно, и я повтому не сержусь. Но, слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать. Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, неутоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли и закурив,—что было моей утренней привычкой,—я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда,—заметил он, наконец, очень, повидимому, озабоченный,—впрочем я вижу, что тебе везет. Ты выпался?

Дюрок не расслышал моего ответа; став задумчив, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резало накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел, осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной затейливой мебелью,—цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, меж тем как ноги Дюрока ступали по мехам и коврам,—было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь, жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедим, Санди,—сказал, перестав ходить, Дюрок:—потом... но что предисловия: хочешь отправиться в экспедицию?

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистошмы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы!

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты может быть хочешь, но в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас,—сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под сурьым лбом.—Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, потому что мне кажется, ты можешь пригодиться, а я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному пустырю?

Он спрашивал о предместьи Лисса, называвшемся так с старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигающиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту.

Ныне Сигнальный пустырь был довольно населенное место,— с своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю,— сказал я,— что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся одетый, как прибрежный житель, так что от его светского великолетия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок, вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах, поверх коричневых верблюжьего сукна брюк — мягкие сапоги с толстой подошвой. В таких вот нарядах люди, как я видел многожды, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной, среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы: «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся!

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, став ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше: я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку,

которую не решался сказать, но сказать очень хотел, и может быть не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело?—сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой?—спросил я и про себя ахнул.—«Сорвалось таки!»—подумал я с горечью:—«теперь держись, Санди!»

— Я?—сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд, серый, как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил:

— Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я—шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами.— «Одним словом—игрок!»—подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а напротив, укрепив свое восхищение. Игрок—значит молодчинище, хват, рискованый человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась и вошел Поп.

— Герои спят,—сказал он хрипло. Он был утомлен, с бледным бессонным лицом и тотчас тревожно уставился на меня.—Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите!—сказал Поп Дюроку.—Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль»... Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит!—сказал Дюрок,—хотя... да, я понимаю вас.

— Конечно! — горячо подхватил Поп. — Я положительно не видел другого такого человека, который бы так верил, был так убежден... Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его,—сказал Дюрок,—он будет нужен.

— Не много ли?!—Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно.—Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня?—сказал, появляясь, свергающий чистотой Эстамп.—Я тоже хочу. Куда это вы собрались. Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся,—два таких молодца, как вы да я,—держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что?! Уже ели? И выпили? А я еще нет. Как вижу,—капитан с вами и суетмудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйствуя и накладывая в рот что попало, также облегчая графин.

— Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером,—сказал Дюрок.—Вдобавок при таком щекотливом деле...

— Да, во-время вернуть слово!

— Нет. Мы можем смутить...

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы.

— Я говорю серьезно,—настаивал Дюрок—мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— Как я ем!—Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю,—вставил Поп,—Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно!—вскричал молодой человек, подмигивая мне.— Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... Ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно,—ответил я,—я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности?—серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука»—как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока—скукой, от книги—молчанием, от птицы—полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор,—сказал я,—и, клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает! Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело,—сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае, вы переоденетесь,—сказал Дюрок Эстампу.—Идите ко мне в спальню, там есть кое-что.—И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

(Продолжение следует).

# Огульное доение.

Рассказ С. Алякринского.

## 1. Человечинка и табачек.

**Л**ютики расцветали попарно, полюбовно на могилах, недавно снявших свои снежные саваны. И надо же было случиться такому греху, чтобы даже эти могильные цветы узнали о нем.

Антон Бабакин, попросту Бабака—за никчемность, двадцать лет еженощно скликавший на тишину эхом своей деревянной колотушки вокруг церкви кости покойников, нашел у могил в последний обход под утро только что роженое тельце, завернутое в лохмотки, с туго затянутым узлом на шее.

Конешно, ему—што? Он старик, живет бобылем тут же под папертью в ушедшей в землю сторожке, ничего не ведая, окромя воску да ладану. А погоревшая летось бобылка, которую приютил он, если никто не хотел ее пустить по колдуньей опаске, так она тоже стара, да к тому же слепа на оба глаза. Вот он—Бабака—и понес под оттопыренной поллой сюртука, дотлевающего уже после тринадцатилетней дьячковой носки на плечах Антона, остывшую человечинку прямо в Совет, к председателю...

...Хоть не взбалмошная звонкота какая-нибудь, а только желтушные биллиарды, от которых в хороших руках и треск идет, в трясучих же они,—что осиновый лист,—все же жалованье от попа идет, да он тут не начальство. Меркутинский сельсовет разберет! И дом у него самый большой в селе, под холстинной вывеской и теперь еще торчит кусок ржавого железа, а на нем разбирается сытое, вольготное «с подачею». А в Совете только и есть, что,—рыжущий тугоухий председатель лапотник, который по старой привычке стелет пастушьи трели по утренней росе на своем падоге и им же созывает сходы с крыльца. Под окнами, у коновязи, как и встарь, толкуются мужики. Чтобы попасть за председателю перегородку, нужно еще разминуться с долгоносим бывшим писарем, а ныне секретарем, у которого указательный палец от немецкой пули так залазит на большой, что будто пишущая рука его всегда кажет фигу, да с очкатым казначеем, надким на сногшибательную, хотя помутневшую

и вздоржавшую за революцию, а не все же живительную влагу. Только эта влага Бабаке не влась. От нее одно обезноженье. А ноги его хоть и кажут околесинку в опорках, дьячковых же, да твердо еще держат ничемную плоть. Пуцай могилу с церковного пола слышат, да зато и теплую землицу податливую на солнцепеке чувят. Чувят и хорошо! Живи и не сшибайся в лежачее свинство. Вот табачек—это другое дело! Сунешь понюшечку и светопредставление: райские птицы в глазах и сердце сладостно мякнет. Очкатая порода тоже не прочь на светопредставление, только из чужой табакерки, своей-то отродясь не было. Да никто и не знает в селе произвести же это зелье из плакун-травы намогильной, кроме него, Антона Бабакина...

Потому-то Антон и вошел с заднего хода, последний раз оправив платком нос от заговеньей понюшки.

Товарищ Силантьев еще с подпасков разуверился в умении односельчан делать себе лапти и теперь, как председатель, он решил пойти им навстречу и в этом деле. И все углы были завалены свежее-надранным лыком, от которого лилось вяжущее благоухание, незаглушаемое и развязной махоркой.

Председатель был один, плел лапти, сидя на кровати и за-глушая не идущие к делу мысли легким посвистом. (На столе, кроме хлебных крошек, во всю его длину лежала архангельского вида труба, не потерявшая зычной силы своих пастбищных мелодий. Над столом полстены занимал говорящий с трибуны Ленин. Космической волей специалиста, не менее чем уездного масштаба, по картинам страшного суда, рука Ильича рвала по шву овчину неба, а глаза его грозили ужасами в разные стороны.)

Боком притворив дверь к писарю и казначею, уже ярившим за перегородкой мужиков оползнями бумаг и недававшимися в тяжелую руку скользкими нулечками, икрой наметанных цифр,—Бабака вытянул из-под полы находку. Руки его, цвета осинового коры, тряслись.

— Штой-то!—спросил тугоухий и рыжущий председатель, отбросив лапоть.

— Чужой грех нашел, товарищ Силантьев,—наклоняясь к его слышащему уху, прошептал ничемный. И тут же торопливо добавил:—Мне—што?

Председатель взял грех, осмотрел верным глазом, и, увидев царапины под шнурком, словно подстегнул языком себя:

— Ах, ты, слась их влась! Не иначе—девкино дело! А? И сдавить-то не сумела!..

— Знаю дело,—поддакнул Антон, выпрямляясь.—Все они ноне покрытки.

Председатель поднялся с кровати и перетряхнул сползавшие штаны, придерживая находку.

— Ну што ж? Валяй к попу! Хоронить надо! Мое дело какое?

— И то,—предупредительно согласился Бабака, сунувшись уже в карман за табакеркой, но тут же опомнясь.

—А?—переспросил председатель.—Душегубку сыщем!—добавил он уверенно, и, вытянув из стопки на окне газетной бумаги, дал Антону расстелить на столе. Лохматый комок положил на нее.

—Ишь, ты, жалость какая: паренек!—посетовал Антон, вскидывая глазки выше даже головы председателя и помогая подтыкать лохмотья пол газету.

Перевязав лыком поверх бумаги, председатель взялся за перо и написал препроводительную попу. Бабака не спускал глаз с трудившихся плеч лапотника. Вздел перебинтованные нитками очки на вздернутый нос, осиновою же коры, и быстро прочел полученное послание, прихваченное снизу клещами серпа и молота, прищмыгивая непрерывно от подступивших помыслов о понюшке.

Председатель не унимался: штоб поп отпел и баста! Никакой контрреволюции!

Бабака снова взял чужой грех, но уже официально под мышку и пошел через канцелярию, спокойно минуя фигу и любителя чужих понюшек.

—Принесь расписку-то!—крикнул ему уже вслед председатель.

—Ладно, товарищ,—скупно отозвался Антон, не оборачиваясь.

## 2. Коровий бог.

Оставшись один, Влас Силантьев ловко заломил газетной кове ногу, сунул в рот, задымил и принялся снова за лапти, сурово размышляя о происшествии. В те редкие моменты, когда из-под огненного вихря волос надвигался лоб Власа, в обоих верхних углах его явственно проступали напивавшие из-под кожи бугры бодливого нрава. Недаром он носил имя в честь скотьего бога. Больше всего поэтому дивило его то, как он своим наметанным в стаде взглядом проглядел этот девкин огул, даже среди тех, плоть которых так паялилась в глаза на гулянках по воскресеньям...

—Вот хотя бы первая телка в селе, с кидаящейся под паневой грудью—Анка Баринава, которую в волость просватали, на денежки позарились.—Мысль о деньгах дала здесь околесину в сторону от Анкиных прелестей. «Эта штука буржуазного происхождения»,—вдруг подумал председатель о препровожденном грехе, почему-то вспомнив слова летошнего Вязниковского инструктора о происхождении мира, когда единогласной резолюцией были одобрены действия Коперника. «Но тогда буржуй в Меркутине—кто? Поп? А ему дали выдел, да и девок у него нег. Учителька, к которой он сам ходит ликвидировать неграмотность по субботам после бани, заместо всенощной? Но она—тощая, и всякое на этот счет утолщение было бы ему известно» —сидился Силантьев, переобувая ноги в только-что законченные лапты

с парным, вяжущим душком. Мысль его опять кинулась к Анке, на которую он безнадежно по тугоухой бодливости зарился еще с подпасков.

Не зря же он раззастал ее за гумнами в обнимку с молодчиком из волости, который даже не снял своих фартовых калош для такого нахального дела, и на чужом выгоне. За то и пришлось такому ферту оставить их вместе с сапогами тут же при выходе из церкви в следующее воскресенье, когда накрыли его Меркутинские ребята.

Оглаживая разбредшуюся по скулам, в редком кустарнике волос, улыбку и решительно тряхнув огненной гривой, встал председатель; когда принес Бабака от попа расписку с церковной смутной печатью, явно страдавшей водянкой. С силой воткнув шило в перегородку, он торжественно произнес:—«Комуння—комунией, а чтобы—едино стадо и един пастырь!»

Антон, не моргая, пошмыгивал осиновым носом.

Громко зевнув и расправив плечи, Силантьев властно кинул Бабаке:

— Пойдем обследовать!

Подтянув привычным одним движением гашник и штаны и сунув за пазуху валявшийся клоч бумаги и печать с окна, председатель вышел в канцелярию. Антон, не зная, что делать с распиской, нерешительно последовал за ним, торопливо захлипывая понюшку прежде, чем шагнуть в дверь.

— Ну, ежели насчет покосов—завтра!—молвил председатель обступившим мужикам.

— Товарищ!.. Силантьич!. —заполосился сермяжный дух.

### 3. Первое доение.

Солнце сыпалось в глаза, стрижи бесновались в бирюзе над куполами, ласточки юлили под резными застрехами и вдоль улицы, чуть не чиркаясь о землю. Бойко взвизгивал колодец стальными ключицами. Куры принимали солнечные ванны на песке у изб после утренней кладки очередного яйца. Подавленные собственной тучностью, свиньи предпочитали грязевые, у колодца. Со дворов сочилась набухшая за зиму навозная прель. Щедрыми горстями брошенного золотого зерна пересыпалась через улицу от двора к двору босоногая ребятня. Скупое зевали разбуженные солнцем окошки, вынося в синь ржаное дыхание изб, кой-где вытряхивая из крашенных наличников пристальные девичьи лица, нетерпеливей расцветающие к лету.

Силантьев направился к избе *своей сердечной с подпасков обиды*.

Дробная кожаная рысца Бабаки не успевала за чинной походью лаптя. Бариновы были дома. Семья полудневала за крутобоким насупившимся самоваром. На с'ежившихся окнах чахли цветы в плошках, тараканьи усы шевелились в щелях по стенам, овчины кисти в углу, у печки.

— С налогом, чать, Силантыч, пожаловал?—приветствовал хозяин председателя, ставя полное до краев блюдо и выплывывая сахар в освободившийся стакан.

Председатель снял шапку и сел к столу, встряхнув пылавшую копну волос, против Анны, выпустившей длинный льняной жгут косы на грудь через плечо.

— По соображенью... к твоей дочери,—сурово сказал председатель, упираясь взглядом из-под надвинувшегося лба в широкий румянец девушки.

— Запрягай!—вполголоса бросил Баринов из-под ежовых бровей подростку-сыну, успокоенный оборотом разговора.

— Опять свататься будет,—подумала в след и Дарья, «барыня», как величал ее ласково в редкие минуты истого супруженья и иронически в остальное время Софрон.

— Мы рази што...—запела было она, ответственно икая и вытирая полнородушное лицо.

— А?—повернул к ней слышащее ухо Силантьев.

— Она, баю, вишь—против!—громче протянула Баринова. Анна полыхнула ресницами и отнялась от блюда.

— Я не про то,—обидчиво отмахнулася председатель.

И застегал:

— Ах, слась иха влась! Гуляют, гуляют, а потом и-на!.. Человечиной брезговать! Зачем, вишь, уродился! Да нешто он нас спросит? Опять от нас это зависит? А пошто упрежать! Сам бы помер, а там—в гроб, по-православному, как все!..

— А рай, што?—равнодушно справился Баринов.

— К покойникам, стерва, подкинула... удавленного!—грозно метнул председатель огненными бровями и вытащил из-за пазухи печать с бумагой.

— Пошто?—спросил Баринов, дивясь выставленной на стол председателевой печатью.

— Да твоя девка-то огуляна, Софрон!—вдруг кругло приложил ртом председатель.

У Анны рванулись слезы, тяжело сползли по щекам и она закрыла лицо рукавом. Барыня в ужасе перекрестилась. Антон затрепыхался у порога. Сам Баринов швырнул глаза на кругляки плеч дочери и, медленно проталкивая хрип, произнес:

— Избави бог, товарищ-председатель, хоша она в соку, а ежли што—убью!

«Дознание»—вывел сверху на помятом листке председатель, надвинув лоб.

— Да что ты, Власьюпка!—взмолилась Дарья, хватая его за рукав.

— А?—Охалится она тут с одним,—огненно потряхнул головой Власий,—дело в сурьез!

И, обернувшись к закашлявшемуся в платок Антону, крикнул:

— Покажь суды попову бумагу!

Бабака, семена околесинками, подкатил к столу. С поклоном от поясницы он пред'явил распску из обеих рук, держа ее в кончиках осиновых пальцев.

Баринов, увидя вдруг в смутном оплыве церквушки явственное отражение греха дочери, рванул ее за льняной жгут и взвыл:

— Ты, што? Паскууудишь?!!

Мирно еще посапывавшие над блюдами ребятишки, сообразив, что дело дошло до вихров на голове, горохом скатились с табуреток и стеганули за дверь.

— Не ярись, Софрон!—остановил отца за руку председатель.— Обследствуем с полным основанием вины.

— Да что уж это за напасти, господи...—заголосила и мать вместе с дочерью, уронившей голову на стол от отцовского основания.

— Полно, мать, у меня глаз меченый, что на коров—что на девок,—вдруг огненно-весело засмеявшись, хлопнул Дарью по плечу Власий.

И, встав из-за стола, пырнул пальцем в грудь Софрона:

— Вижу, котора огуляна.

Растерянно поднялся и Софрон, а за ним и убитая Дарья.

Бабака начал медленно пятиться к выходу, потирая взмокшие руки платком, как только председатель снялся с места, с нетерпением уже ожидая минуты своего освобождения.

Анна не поднимала головы, продолжая перекатывать плечи под всхлипами.

...Вдруг председатель отечески-основательно обратился к девушке:

— Подь суды, Анна!

— Я не огуляна, Влас Силантьич,—покорно ответила та, склонясь под стол и почтительно тихо сморкаясь в подол.

— Подь суды, говорю! Ты мне, как попу на духу! Мотри, девка!—жестко уже подстелил и за глупое свое подпасково сердце Силантьев.

Анна нерешительно вышла из-за стола и подошла, потупив голову.

Лицо было, как накаленный солнцем камень и обданный волной. Грудь приступала валами.

— Покажь вымя-то!—вдруг звонко стеганули председателевы слова.. Не ожидая ответа, он сам расстегнул ей паневу, выкатил из-под рубахи бодливой пятерней литое бело-румяное яблоко соблазна.

Софрон и Дарья затаили дыхание.

Девушка тотчас же стыдливо повела рукой так же, как восковая непорочность, что кажут в балагане на ярмарке в Вязниках.

Но укротитель отвел ее руку и облегченно, будто держал уже огул, зыком первого коровьего всеведа и сводника воскликнул

— Ни-накось!! Знамо—стельна!..

Нажимая сверху большим пальцем, он потянул грудь к соску...

Литая резина отскочила обратно за рубаху.

Председатель разжал горсть, но нектара не было.

Бариновы молчали... Девушка осталась неподвижной, вдавнив отвернутый подбородок в плечо.

— Дакась другу-то!—с упорством Адамова вкушения, но дрогнувшим голосом взмахнул Силантьев и снова опустил руку за рубаху...

И от второй груди рука Власия была сухой. Огула не было.

— Ах, слась иха влась! Промазал!—сокрушенно дернулся председатель.

Лицо Анны расцвело и поплыло в улыбке, васильки глаз выпыхнули девичьим задором, и она медленно принялась застегивать прореху.

Отец и мать истово, но легко вздохнули. Антон улелетнул.

— Прощенья просим,—глухо проговорил Силантьев и взял со стола печать и лист с несостоявшимся дознанием.

— Прощевай, товарищ...—пропела Дарья.

— ...А огулку сыщем и властям отпишем,—подчеркнул председатель свою ответственность с порога уже заткнувшему за пояс руки Софрону.

— Огул—не ветер надул,—ежа брови, пробормотал Баринов в ответ на закрытую председателем дверь.

За воротами Силантьев крепко сплюнул, словно горькую обиду свою высосал из груди Анны. Бабака уже ждал его тут, пощипывал седой клинышек на подбородке, вертел глазками после триединой понюшки и не решался проронить слова, видя споткнувшееся лицо рыжущего.

Тугоухий пастух шел домой к совету вдоль пыльной улицы, не замечая верной, но поджавшей хвост своей овчарки.

— А можа... Дунька Стегунова? Больно она днем голосиста, а вечерами долго мякнет по чужим заваленкам,—преодолевая обиду, неожиданно произнес председатель и остановился, заворачивая козе ногу с чистого конца дознания.

— Отца нет, учить некому и огуляться недолго,—решился вставить Антон. Силантьев свистнул и повернул за собой Бабаку в другой конец села.

#### 4. Второе доение.

Чем дальше по порядку, тем больше избы упрощали и тот несложный свой жилой облик, что было у них на середине села: сначала сползала краска с наличников, потом вдруг пропадало одно окно и, наконец, солома лезла на крышу. Отсюда уже не слышно было стрижей, а ласточкам не по нраву были застрехи без резьбы. Тяжело скрипел колодезный журавль. Зелено и размашисто распушился воробьятник через всю улицу, не одолев

лишь узкой и глубокой колеи, но не оставив места для всякого рода ванн тучным и пернатым. Со дворов прель не сочилась. Окна спали...

Неприветливо встретила гостей вдовья Урыша, соломой крытая, безмужицкая. Сама Стегуниха лежала под образами на коленях у старшей дочери, чернобровой Дуняхи, которая обломком гребня вгоняла блаженство сонливой одури в голову матери. Обе были без цанев, с рассыпанными волосами. Младшая—подросток—тут же месила корм поросенку. Первая, увидев вошедших, она подняла от шайки нос, вильнула косичкой и, вытирая о подол руки, пропела:

— Почто пришли-то?

— Ась?—усмехнувшись, переспросил председатель и ласковым пальцем боднул девочку пониже встопырившегося живота, прищелкнув словами:—Быку теляха не повадка!

— А ну тя к лещему!—откинув быстро задком, деловито огрызнулась та и понесла шайку в сени, чуть не сбив с ног застрявшего в дверях Антона.

Чернявая Дуняха, держа в зубах гребень, прекратила блаженство. Стегуниха открыла глаза и, увидя председателя, стала опрavlять волосы в лица.

— Что, батюшка, скажешь? Уж не покосу ли дашь нам, сиротам?—запела она, окончательно стряхнув одурь и опуская ноги на пол.

— Проспала, мать, выгонье-то!—громко сказал председатель и, указывая подбородком на Дуняху, все еще сидевшую по-турецки, вдруг добавил:

— Девка-то твоя огуляна!

— Кто сказал?—испугалась Стегуниха.

— Я говорю!—твердо ответил председатель, надвигая лоб.

— А-ю-шки...—стряхнув с лица смоляную волну волос, певучим смешком швырнула Дуняха и выдернула из-под себя ноги.

Антон вытянул платок, прикрывая улыбку.

— Да неужто?—поднялась со скамьи Стегуниха.

— И младенец-от удушен, на могилах брошен!—подступая к ней, сурово махнул председатель.

— Дай бумагу, Антон!—крикнул он назад через плечо.

— Ой, светы!—заполонила Стегуниха, хлопая голыми руками себя по юбке и смотря на выплывший смутный грех из осиновых рук Бабаки.

Дуняха, сжимая под мышками ладони перекрещенных на грудях рук, болтала ногами.

— Сраму-то, сраму-то теперь, девка!—обратилась к ней мать, истошно причитая.

— Будя, мать, закон не ждет!—нетерпеливо-устраняюще кинул председатель и подошел к полыхавшей вишеньем Дуняхе.

— Кажи вымя-то!—вдруг сухо стегнули председателивы слова уставившегося на стекавшую смоль поверх голых плеч девушки.

— Ишь, какой прыткой!—рванулась она со скамьи.

Стегуниха зашикала на дочь, дернула ее за локоть и, ежидно сморщив нос, лихо прогнусавила:

— Что ты убудет што ля? Дура!

— Дака подойник, мать!—также лихо, скороговоркой отозвалась вдруг дочь. И отдернула книзу рубаху.

Бабака фыркпул в платок.

— А?—подставил слышущее ухо председатель.

И сверкнули, дрогнули и застыли в своей дикой упругости, торчащие сосками в стороны, смуглые груди.

Торопливо обе потянул председатель. В горстях было сухо.

— Ах, слась иха влась! Яловка!—с досадой рванулся Силантьев от Дуняхи.

Девушка быстро вскинула рубаху к плечам и, заполыхав румянцем, запальчиво кинула:

— У, рыжущее быдло,—туда же!

Председатель теребил шапку в руках.

— Всех девок выдою, а огулку найду!—посулил он сурово, барахтаясь с шапкой на непослушно-огненной гриве, и потянул за полу не торопившегося Бабаку к выходу.

— Ишь, напужа-ал!—ехидным гнуском бросила Стегуниха, попав в оглянувшего еще раз Бабаку.

## 5. Огул.

Выйдя на улицу, прогневанный Власий пошел обратно по порядку, уже заходя во все избы, где, по его соображению, были девки в возрасте, годном для бычьей сноровки. Бабака отыгрывался на неудачах скотьего вседержителя, не отходил от него, непрерывно ухмылялся, закладывая большие понюшки и становился все вязчивей. В следующей же избе он не без успеха вклинился уже в огульные следствования власти, обратившись к брыкавшейся рыженке:

— Девонька, не робь—одна дробь, пороху нет.

Скоро сбежались всюду успевающие мальчишки и, провожая от избы к избе озлобленного огульными промашками председателя и деловито уже следовавшего за ним Антона, липли к окнам, бузыкали через улицу:

— Девки доят!

Отстраненные от всякого огула почтенной сединой, выползли из солнечные заваленки, шептались, крестили рты, словно в ожидании шествующей по дворам престольной троеручицы. А в сумерки троеручицей же клялись и били уже лбом: «В Лениной-де столице, у самого, вишь, что ни на есть главного коммуниста наследник народился, родную мать в гроб вогнал, всех кормилок

обсосал, дөвьего молока затребовал, а дикрет попу послал да с печатью самого потриярха животной церкви, а поп на дикретку переписал, да председателю отнес, а в дикретке той сказано: «выдоить огулом всех девок беспрепятственно».

Всякое дезертирство огулкам было отрезано и бдительностью соседей, не допускавшей явного перевеса чужих шансов в огульном деле...

Огульное доение близилось к концу, а виновницы, выбросившей грех, не находилось. Председатель терял терпение, стучал по столу, не казал уже ни хваткой, ни мутной печатей, чаще стал пользоваться нажимом только одного пальца, а иногда и просто доверялся верному взгляду, но молозиво оставалось загадкой даже для тех, которые уже скоро откроют его в себе по закону, — откроют, как чудо ответное и благостное впервые пискнувшему рту отделившейся от крови человечинки...

В одной избе председателя поманила было надежда, но показавшиеся несколько капелек молока принадлежали только-что приехавшей из города, недавно скинувшей мертвенького, жене селькора, задержавшегося по дороге в волости.

Солнце уже не сыпалось в глаза, великопостно ныл колокол к вечерне, закусив удаль трезвона в осиновых руках Антона, обнаглевшего в последней избе и прогнанного председателем, — когда вернулся мрачно и одиноко Влас Силантьев домой, в совет. Вся досада посрамленного коровьего бога излилась на Бабаку, прокараулившего подкидчицу. Силантьев отобрал у него попову расписку и посулил устранение от покойников. Пройдя за перегородку через опустевшую канцелярию, он сейчас же вернулся на крыльцо и сыграл сход...

На сходе председатель горько сетовал на свою огульную неудачу, объявил о немедленных выборах нового сторожа, больше знающего толк в покойниках, и потребовал тут же собрать по «мирояду» с души попу за похороны огульного греха.

— Наш брат, кто его разберет, который огулял? Мужик — и плати! Огулом. Комунически... — закончил свой доклад Силантьев, выдвинув лоб.

По душам набрали 93 «мирояда» огульных денег, а с баб, известно, «лимона» не выдоишь. На смену Антону был избран бобыль же — Овдон, по праздникам гудевший с клироса вместе с дьячком, как Окский пароход на Клязьме в половоде.

## 6. Надмогильный крест.

Возвратясь со схода, председатель удивился, найдя у себя ожидавшего попа. Впервые к нему явился тот, кому вряд управ-  
ляться с мертвыми, чтобы еще совать нос в живых. Поп был при-  
досохе, употреблявшемся в торжественных случаях на пастбище  
Меркутинских душ. Сухая его фигура торчала под потолок, как

покоившийся от времени надмогильный крест, которых много ежегодно валится ветром на кладбище.

— Товарищ-председатель — начал надмогильный, — вы, кажется, только что произвели следствие по делу об убиенном младенце. Как председателю... представителю, — поправился поп, — богоданной власти, мой долг...

— Что-й-то? — переспросил на слышущее ухо Силантьев.

— Хотя все сие поведено мне на духу, — громче продолжал крест, — но дух божий, живущий во всех нас, привел сообщить, что преступная мать отыскалася.

— Уж не тыль ее огулял, отец? — прошелся по мертвой власти председатель, как кнутом в воздух на выгонье.

— И на старуху бывает проруха, — играя уже загадкой и оглаживая лысину, в воздух же ответил поп.

И вдруг заложил, пригнувшись к Власию, в слышащее председателя ухо:

— Антонова бобылка.

Рот открылся у председателя, зловецим храпом выпустив содержимое легких. Хлебнув ртом, председатель с силой развернулся уже по животворящей власти:

— Ну, и сласть иха власть! А? Бобылка, говоришь? Пойдем! Взять надо! — заметался по углам с лыком ловец коровьих душ и, наконец, вытащив из-под кровати, кольцом отдохавший, кнут, поддел в него руку.

## 7. Два пастыря.

Совместное появление на улице обоих пастырей, до сих пор попадавших друг к другу только отношениями, через забор, в отгороженные им выгоны власти, вызывало у встречавшейся паствы изумление, сменявшееся усугубленными поклонами. По дороге поп рассказал, как на отпеванье вползла Антонова слепая, губ которой не миновал ни один покойник, принесенный в церковь. Бобылка учуяла шнурок на шее младенца, который попадья побоялась развязать при обмываньи, и повалилась в ноги, прося исповедать ее смертный грех. Старуха, истекая бельмами, каялась:

— Грешна, ой, грешна, батюшка! Чего уж тут — утробой согрешила! Одна, вишь, сласть-то в ей и осталась. Бог наказал. Сама родила, да сама и задавила! На кой, думаю, он мне, коль очей им не насытишь. Только нельзя ли как без чину схоронить: пусть, мол, травкой в землицу уйдет, а то как душенька его на муки вечные пойдет?..

— Младенец отпет и похоронен? — сухо спросил председатель, вступая уже на кладбище.

— Чин-чином! Сын и гробок сделал, — деловито подтвердил поп, указывая на свежую припухлость земли, еле видимую в сумерках, у белой ограды, близ самых ворот.

— Получи за труды и давай расписку,—удовлетворился председатель, вытряхивая из кармана огульную желтуху и особо подавая последний не искуренный клочек от дознания. Поп пересчитал деньги, расправив и разложив на десятки, отправил их в карман, написал набожной прописью сумму под тремя уцелевшими буквами заголовка и повел председателя в сторожку.

### 8. Дьявол огула.

Бабака лежал на нарах, в очках, пошевеливая тараканьими усишками, и при тощей свечке читал из'еденный мышами, молитвенник, отстраняя из темных углов плотскую нечисть светопредставленья с яблоками соблазна. У свечки лежал и табачек. Увидя вдруг пред собой опасное для него в такой поздний чаше совместительство всех атрибутов обеих властей, Антон понял, что этот час стал последним для его пребывания в полуподземном убежище от людского зла, и быстро скатился на колени пред попом и председателем.

— Отцы родные, помилосердствуйте!—заблеял он.—Выгнал ее я, суку бельмастую! Опутала меня на склоне лет и куска хлеба приходского лишила! Мово младенчика-то она придушила! Заставьте вечно бога молить! Отцы родные..

— У....у... слась те влась, старый дьявол! И девок отдоить тебе, вишь, любо!—взрычал председатель и, наклонившись, крепко плюнул Бабаке прямо в очки. Поп сокрушенно начал головой, кренясь на бок. Бабака часто моргал под заплеванными стекляшками.

— Навязался ты на меня, старый пес!—уже устало процедил Силантьев, поднимая толчком в бок раскорячившегося Антона.

— Воля твоя, товарищ Силантьич,—бормотал, подымаясь с земляного пола дьявол огула и косясь вверх очков на покренившийся надмогильный крест.

— Ты арестован, а ведьму бельмасту и без тебя сыщем!—закончил председатель, накидывая обруч кнута на плечи ущемившего хвост пса.

### 9. Эпилог. Всевидящее око.

Страда жгла и секла, а дни подживали годами. И молоко селькоровой жены сделало свое дело. Коровий бог был возвращен к коровьим огулам «сластью—власью», как бывший дьявол, устроившийся сподручным к отставному богу, балагурит на посеиве о простившей ему власти, не терпящей, однако, нигде ни огула, ни прогула, символ которой—лукаво прищуренное, всевидящее око смотрело теперь со стены мимо разобранной перегородки.

Надмогильный крест сдуло ветром под сагую троеручицу. Бобылку забыло Меркутино. А девки своего огула ждут.

## В вагоне.

Рассказ *Глеба Алексеева*.

**Н**а остановке в вагон вошли двое новых пассажиров, и старые—как всегда в вагоне—встретили их с враждебностью. Встрепенувшийся у окна дед, лысый и безбровый, но с огромной, раздерганной бородой, — смотрел с неодобрением, пока они укладывали свои вещи и размещались. Они внесли с собой шумную свежесть, певучий акающий говорок, каким говорят в Калужской губернии, и старший из них—в кожаной куртке и в меховой шапке, подвязанной под подбородком концами потертого рыжелого меха, стал разматывать шапку. Из-под нее вывалилась на воротник пламенная, словно у сказочных викингов, грива волос. Он занял крайнее место, его спутница—тоненькая женщина в красном платочке—стоя, продолжала говорить: — Конечно, я во многом с вами не согласна... Но мы еще поговорим... Я, как женщина...

— Вы, как женщина!—повторил с иронией викинг, указывая ей место на противоположной лавке. На ней спал человек в шинели, лицом книзу, ноги его были в лаптях, и с носков, разбухших от весенней мокрого погоды, с сухим треском спадала вниз капель.

— Попросите гражданина подвинуться!

Женщина коснулась шинели и сказала:

— Гражданин! А, гражданин хороший...

Но вот под окном опретью пробежал начальник станции с жезлом, мальчишки кинулись в сторону, ветер смял их крик: «яблоки, вот яблоки!»—поезд тронулся, и сразу все ладно разместились. За окном,—странно крутясь, бежал асфальт перрона; под станционным колоколом сидели на мешках бабы, неподвижные, как тумбы; над окном, в котором заносчиво торчал куст герани, мотался красный флаг, прикрывая надпись, выщербленную топором по фронтоу: «Революция—вихрь, отбрасывающий назад всех сопротивных!». На верхней полке лежала старуха—до остановки она спала с душным присвистыванием. Сейчас от говора вошедших она открыла красноватые без ресниц глаза и с минуту смотрела, не соображая, на пыльный протенок.

Спать уже не хотелось, от окна, от проходивших в нем талых коричневых полей тянуло утренней сыростью. Сивый дед подвинул под себя мешок, чтобы в любую минуту его можно было нащупать, испытующе прищурил маленькие птичьи глазки: кожаная куртка нового пассажира заставила его насторожиться.

Тогда тоненькая женщина в платочке заговорила:

— В одном я с вами безоговорочно согласна, товарищ: буржуазная любовь грешна тем, что, поглощая в себе мысли и чувства любящих сердец, изолирует любящую пару из коллектива. Получается как бы узаконенное одиночество вдвоем, но ведь это одиночество было и до сих пор есть единственный смысл всей женской доли... Оно является как бы заслуженной находкой женщины и, по всему своему женскому существу, она не может от него отказаться...

Викинг слушал внимательно с той терпеливостью выслушивать собеседника до конца, которая сразу обличала в нем человека, работавшего в революции. И опять стало внимательным и ожидающим это ничем незамечательное лицо женщины, с беспомощно вскинутыми бровями на узкий, выпуклый лоб, со скуластыми щеками, отчего лоб и подбородок казались маленькими, с глазами—большими и серыми, как утренние лужи весной. Говоря, она легонько выбрасывала вперед руку, и в этом жесте было что-то детское и просительное.

— Товарищ,—вежливо выждав паузу, отвечал викинг,— в революции нам было не до объяснений этого сложнейшего из чувств. Нам было просто некогда. И любовь тогда была просто голым инстинктом воспроизводства...

Но женщина перебила его нетерпеливо:

— А я нахожу, что это слишком по-мужски, а во-вторых, слишком просто, чтобы быть понятным в наше время! Вы только подумайте, на какую ступень вы сводите женщину, потому что мужчина, в противовес женщине, ища в одном—большей частью находит во многом... И вот по-житейскому представьте себе: как вы растолкуете нашей молодежи закон биологической сущности любви? Ведь если у нас с вами,—она произнесла эту фразу с каким-то тайным укором, словно он, укор, должен быть понятен только им одним,—у нас с вами, людей взрослых, есть какие-то ограничения, есть законы коллектива, наконец, мы просто умеем подчинять наши страсти разуму или терпению—молодежь в этом смысле не только готова, но и должна опуститься до степени животных... Вот у нас в школе, где я служу, мальчишка лет пятнадцати подходит к такой же девочке, которая понравилась ему в данный момент, и говорит: «я тебя облюбавал (он так и чувствует: облюбавал, а не люблю!)—и ты потому должна мне отдаться. Если ты мне не отдашься, значит ты—мешанка»..

Слушая, викинг разглядывал ее лицо пристально, словно видел его в первый раз. Его глаза блеснули досадой и недоумением. Когда она кончила, он с неуклюжей ласковостью большого

и сильного человека положил на ее колени ладонь и продолжал спокойно, словно она его и не прерывала:

— Мораль рабочего класса, поскольку она уже выкристаллизовалась, решительно отбрасывает всякую внешнюю форму общения полов, и это—первое, что вы не принимаете во внимание, товарищ! Для наших классовых задач нам совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного освященного обычаями союза или ограничивается скоро истекающей связью. Вопрос не во времени, а в полноте, и, если так можно выразиться, в тембре чувства... Нам нужно, чтобы стихия любви будила чуткость и отзывчивость, чувство товарищества и желание помочь другому. Буржуазная идеология эти стороны любви направляла на одного, на избранного, мы же должны эти стороны любви направить на всех. Однажды у одного романиста я вычитал: «Она любила, и от ее любви стало светло всем окружающим ее». Это—не совсем грамотно, но сущность новой любви вот в этом.

Мы сейчас голыми руками берем куски жизни и строим из нее новый быт. Стихия любви в наших руках должна помочь нам выстроить этот новый быт изнутри...

И, почти касаясь взглядом ее глаз, казавшихся печальными в скупом блеске утра, он добавил:

— Вот почему нам, в переходную эпоху, в конце концов безразлично, какие формы принимает любовь: есть ли это нежная тишина злюбленности, доцветающая в геранях на подслеповатых уездных окошках и на сценах театров; есть ли это испепеляющая бу-уря страсти, которая также осталась только в уездных городах, или мистическое искание созвучия душ! Мы хотим одного: призвести чувство любви в соответствие с нашей задачей! Не сейчас, конечно, когда каждый шаг может быть тяжел, как ошибка, потому что мы идем по дороге, на которую еще никогда не ступала человеческая нога...

— Да, да!—продолжал он настойчиво, заметив, что она опять хочет его перебить, и снова опустил ладонь на ее колени,— пять тысяч лет назад в древней Греции было здоровое и свободное влечение полов друг к другу. Но, продолжая развиваться, человечество одело это влечение в стеснительные одежды понятий и обычаев сообразно вкусам своих стран и рас. Старость, ревность, поглощение любовью иных,—быть может, более высоких и светлых мыслей и чувствований,—наконец, самое выделение пары любящих из коллектива, сосредоточение счастья одного на другом, и только на нем,—поверьте, все это было чуждо древнему человеку и начало развиваться в нем одновременно и в ногу с развитием чувства собственности... Я не ошибусь, если скажу, что первые сведения о ревности относятся ко временам Плиния, то-есть ко времени первых серебряных монет...

Но тут в разговор вступила шинель, которая, проснувшись, села и все время порывалась вставить в разговор свое слово и не успевала. Это был крепкий шатен, с пестрым, словно птичье

перо, пухом на верхней губе, лет 23-х. Он был сузуловат, с длинными, почти достигающими коленей и очень бестолковыми руками, которые он в продолжение разговора то закладывал в карман, то пробовал примостить на коленях так, чтобы они не свесивались.

— Которая баба, товарищ,—сказал он,—есть первеющая стервь!

С величайшим презрением сплюнул при этом на пол,—плевок попал на сапог викинга. Тот отодвинул было ногу с брезгливостью, но сейчас же, покраснев, поставил ее обратно и с извиняющейся внимательностью склонился к новому собеседнику.

Слушая викинга, старуха с верхней полки свесилась вниз, налегая грудью на доски. Она ждала только паузы, чтобы неотложно рассказать про свое горе—сразу видать—образованному человеку.

— Живем мы в Белом Колпе... и вот, что ты мне скажи, гражданин хороший... произошел у нас, конечно, случай...

И взглядом она повела по его лицу, словно прощупывала его рукой. Глаза у ней были тусклые, овечьи, под ними лежали лучики отяжелевших морщин, застывших в какой-то непомерной, нешедшей к лицу, улыбке. Но сейчас, когда она заговорила, в разговор она вмешалась властно, заставляя себя слушать. Шинель, насмешливо мигнув, повернула к ней голову, словно хотела сказать: «ну, ну, послушаем, что ты поерешь!».

— Подошел к Манюшке моей замечательный кавалер. Из себя, правду скажу, статный и высокий, волосы в барашек вьются, не хуже твоих,—с приятнью обернулась она к викингу,—люблю, говорит, тебя по гроп жизни,—не мне говорит, а Манюшке. Ну, а мы со стариком тоже про свое дело примечаем: в роде как будто не пьет, в карты не играет, и словесность у него подходящая, не едовитая. Дело, конечно, житейская: ты к нам, мы к вам, оно и крутится... Крутила так девка с парнем до Покрова, а под самые Покрова богородицы пришла я ото всенощной, глянула, а на Маньке лица нету. «Ой, говорю, девка, в порядке ли твоя девичья дело?» Она мне и говорит: «Ты, маменька, не сумлевайся, моя девичья дело в порядке, а только имела я с им давеча на пасеке сурьезный разговор, и оченно мне теперича коломытно. Выхожу я на пасеку, будто пчел доглядеть, а он и тут, сидит на дубке, из себя смиреннький, стебелечек покусывает. Тут я к нему и приступи, Манюшка моя тоись,—сашшала я, говорит, от тебя всякие любовные слова, и сама тобой про гроп жизни антиресуюсь, а только венчаться пойдём в церковь. Хошь и косо-молец ты, и книжки умные наскрозь читаешь, и оченно я с тобой согласна про буржуев и которые империлисты, но только все вы, мужики, нынче оченно развитные: хучь узлом вас завяжи,—обязательно разовьетесь. Прикусил парень стебелек и говорит моей Манюшке задумчиво: твое девичье дело я вполне сочувствую, но только как шел, говорит, я пять лет рука об руку

с советской властью, играя в нашем полку на духовой трубе, то придется мне после церковного брака в чистку выйти и за то свое место лишиться... Вот тут и согласуйся про то, как теперь поступать? Думали мы, думали со стариком, ну, прямо, что тараканье под решетом: дырок много, а вылезти некуда, да и на девку глянуть страшно: сохнуть зачала. «Дэй, говорю,—это я старику своему, тоись,—дай, говорю, я в город с'езжу, к одному почтенному человеку святой жизни». Вот и ездил в город к почтенному человеку за советом...

— Г-ха!—с веселой злостью отозвалась шинель,—ну, этого дела не устережешь, нет! Потому баба, мамаша,—она всегда баба, и в ней это самое бабье естество червем ей душу гложеть...

— А ты, малый, помолчи! Не про тебя речь... Почтенный человек,—он пронзительный,—он меня сейчас посадил на стул, а сам непрестанные молитвы шепчет. «А не припомните ли вы, говорит, столь несчастливая мамаша, какого-нибудь сна замечательного, который предвещает вам жизнь?»—«Как же, отвечаю, припомню такой сон замечательный. Как, говорю, затяжелела я Манюшкой, дай, думаю, на манюшкину планиду погадаю, какая ейная жизнь сбудется? Поймала я черного таракана, положила на ночь под головашки, что приснится—тому дите мому не миновать—хвакт самый верный... Сказала я про то почтенному человеку, а он встал хладнокровный, как статуя, и говорит: «Ну, говорит, мать моя, а теперь расскажи мне, что же вам в тое ночь приснилось?»—А приснилось, отвечаю, батюшка мой, всякая ирунда». Тут стал он из лица супротивный, даже потемнел весь, сердешный... «Раз, говорит вам, приснилась всякая ирунда, так и ейная жизнь изойдет ирундой, как масла. А при таком печальном, говорит, хвакте отдавать свою дочь за бескрестника я вам откровенно не советую»...

— Ха-ха-ха!—опять перебила шинель,—ну что ж ты врешь?

— Это кто-й-то?—спросила старуха с удивлением.

— Да ты, бабушка, ты самая и врешь!..

Старуха обиженно подобрала губы:

— Я, батюшка, не вру—лес врет!

Поезд вошел в это время в лес, по-весеннему голый и неприязненный. Под самыми окнами вагона замахали, словно стегаясь, ветви, с них падали непросыпающие капли ранней росы. Вошел кондуктор в попаленных валенках и сказал сонным голосом: «вашь билеты!» Все в купе заторможились, старуха поставила на полку отежшую ногу в сером с красными разводами чулке и полезла за билетом. Женщина в платочке неестественно громко спросила кондуктора: далеко ль до Сухиничей? В купе вдруг стало по-утреннему просторно и свежо, после ночи и разговора все почувствовали конец путешествия и опять стали чужими. И викинг стал было развязывать чемодан, чтобы пойти умыться, когда заговорил старик. Он начал тихо, таинственным шопотком первых его слов не было слышно, и только потому, как шевели-

лись его желтые с прозеленью старости усы можно было догадаться, что он говорит о чем-то.

— ...а был я тому делу свидетелем, и еду теперь обратно в Фуниково. Зверства—оно, молодой человек, всегда есть зверства, и нужно про то понимать по простому, а без заковык. Была у нас на селе девка, из себя пустяшная, палец ей покажи—и тому рада; девка, как девка, хотя, между прочим, и приводится мне в роде родни: родного брата моего дочь. Ну, семья жила, конечно, без достатка, однако жили. Брат мой со старшим сыном работают на фабрике, старуха еще жива, на шестом десятке, поля у них по причине фабрики не было, хозяйства тоже,—одна коровенка. Стала девка у отца отпрашиваться: отпусти ты меня в Москву, потому дома работы все одно подходящей нету, а я до пасхи послужу в прислугах, полсапожки справлю... Видят старики: говорит девка правильно, работы действительно нету, а пора и об приданом позаботиться: девке шестнадцатый год, а в сундуке одни—простите—клопы! О тое же шору отправили девку в Москву одное-одиошеньку, и, помнится мне, тогда же я пришел к брату и говорю ему такие справедливые слова: «Брат, а твое положение понимаю, а только не губи девку! Москва—город большой, вавилон, а не город, и всякие там для девки непроходимые соблазны. Опять же, говорю, кинематографы эти самые, в них тушут огонь на втечение целого вечера, а парни тут же сидят сбоку. Тут не токмо у девки—у вдовы и то сердце взывает». А брат мне отвечает такими обидными словами: «Очень я тебе благодарен сочувствию на чужом глазу, а только смотри ты крепче за своей Ариной, а мне на голову Дунькиной беды не накликай!»—«Как же, говорю, я накликаю, ты человек просвещенный, на фабрике служишь, а в роде как быдто бабскому глазу веришь!» Ну, прямо я его срезал этими словами по больному месту... «Это, отвечает, не бабский глаз, а может от твоих слов произойти гипнотизма, которая некоторым людям слабо на голову действует». Поговорили мы таким образом, я ему, конечно, свою соображению выложил, как на ладони, а под конец всего и говорю: «Ой, брат, выйдет какая беда—первый ты тому ответчик будешь, потому рано ты своему детю, которая еще в полном разе не самостоятельна, свободу даешь»... А он меня за то старой галкой обозвал. Вот и вышла этому делу галка, а какая—сейчас расскажу...

— А Расскажи!—поощряюще оскалила зубы шинель, подпирая кулаком грязные усы.

— Отправили мы девку, как сейчас вижу, в самые покрыва. Старуха, конечно, поголосила, без этого нельзя: чать, тоже люди на селе живут. А до станции у нас двенадцать верстов, а может, малость помене, если с большака свернуть по над казенным лесом. Взял я посошок, и таково мне стало жалко девку, что дай, думаю, встрену ее по путе, казенника ей никак не миновать... Конечно, мое дело—не родительское; сторона, а сетак мы, ста-

рики, про жизнь больше понимаем. А сходим и мы, старики, как прошлогодняя трава в том лесу, а они на наших костях весенней травой кинутся. А кинутся обязательно без понятий: во все стороны, а без внимания. Эх, кабы взять вот так, да в молодую душу мои мозги всунуть! Уж мы, людие, так устроены:—живем, грешим, себе руки раним, а приспееет смертный час—предстанет изумленному взору вся жизнь как на ладони. Вот бы и взять молодой душе мои повидавшие глаза,—так нет же!—каждая хочет жить сызнова, вслепую. Только я на пеньке в том лесу этаким вот манером размечтался,—идет моя красавица, лапоточками землю пылит, глазыньки,—что майские Зеленыя, и на ходу ручкой машет... А нет того в голове, что, может, на свой страшный суд идет, а ведь так оно и вышло...

— Стой, говорю, Дунюшка—я тут!

— Ой, дядюшка, как вы мене испугали... Ай, по грибы вышли?

— По грибы, отвечаю, не по грибы, а только сидел я тут в мечте о ролю современной молодежи, и сердце мое болезненно сжалось. Воробья, говорю, и того, когда он, желторотый, из гнезда свалится,—мать летать учит, а где у тебе такое крыло? Ты, говорю, в мире сем слабее кутенка, у него хоть зубы есть... Присядь, что я тебе скажу...

Присели мы на пенек, в лесу тишина, пахнет в нем осенью и прелым листом, по небу журавель к теплым странам тянет—собрался было я говорить,—ан нет у меня слов, вся моя старческая мудрость излетела из меня, как дыхания. Нет, никак не могу я перед прелестной природой человеческие слова говорить:

— Иди, говорю, Дунюшка,—на поезд опоздаешь...

Пошла она, ровно флажок меж деревьев.

Только рано или поздно,—а по весне вернулась наша Дунюшка назад в село. И сразу стал я примечать за ней про что мое сердце вещало. То была девка—бой, и говорлива, и смешлива, и в хороводе передком, а тут притворилась из себя тихой, на лице овал бледности, и глаза кажут старыми, как вот бывают у стариков при смерти или у дряхлых деревенских собак. А работяща стала, словно молодая невестка, и нет работы—придумает. Она и по дому вьюном, и картошь посадить, и корову выгнать, и завтрак отцу с братом на фабрику несет. Я, извините, до перепелов большой охотник, люблю послушать, как они в поле обманчивую игру ведут. Цельный день иной раз на меже лежишь, и таково радостно пахнет гречей и разогретой землей, а тут перепела заведут тонкую игру—кажись, никогда б и не помер от такой радости... И часто вижу, бывало, идет она по межам в красном платочке,—обернулся старик к новой спутнице, слушавшей его с той внимательностью, которая у женщин часто накапливается слезами,—платочек такой она в городе выучилась носить, идет—поет себе под нос; а что поет—не разберешь... Да-а-а... Конечно, дело мое—не родительское, а только все же говорю я старухе,

братниной жене: «Ой, Митревна, говорю, хоть и маэринее дело нащет девьего положения примечать, а только ты смотри в оба, не зевай»... «Ты, отвечает, старый пес, прыток больно»... Однако, глядь, на мое и об'яснилось. И уж после я узнал про то, как дело произошло. Под успеньев день Дунюшка и говорит невинно: «Маменька, чтой-то мне нездоровится, ягу я на печь, а ты сама пироги испеки». — «Ложись, отвечает, доченька!», у самой, конечно, подозрение после моих слов душу гложет. Не дай бог — по селу дознаются: пропала девка, одна дорог — на фабрику или вот в эти, приститутки... «Ничего, говорит, маменька, я отлежусь!» Залезла на печку, как коза, в тулуп завернулась, руку себе закусил, да и родила как ни в чем не бывало живого младенца женского полу. Мать себе топит печь, месит в деже тесту, а она поднялась и идет тихонечко из избы свой девичий грех запрятать — схоронить. Старуха только по крови и догадалась, кровавый след тянется за ей по полу. Ка-ак закричит грозным, не своим голосом: «Родила ты, курва несчастная! Чтой-то у тебе в платке завернуто?» Та, конечно, безмолвно развернула платок, а в ем живой младенец ручками сучит. Так и есть — родила! «Ну, говорит, девка, — счастлив твой бог, что ни отца, ни брата дома нету, быть бы тебе ученой, а надо твоему горю безотлагательно помочь». Только произнесла она эти роковые слова, — шась в избу брат Иван, и остановился на пороге в неопишемом изумлении... «Все, говорит, Дунька, я от тебя ожидать мог, но чтобы ты байструка в дом принесла, этого, говорит, прости — я от тебя никак не ожидал! На все нашу семью наложила ты позор неистребимый, а на себя и того больше»...

— А тут же всю делу и порешили, — продолжал, передохнув, старик, — прослушала эти его слова Митревна и говорит: «Не дал бог тебе счастья, Дуняшка: живой родился!» А брат и усмехнулся: «Этую божью ошибку, мамаша, завсегда поправить можно, только нужно про все дело — мо-олчок! — и чтобы очень осторожно. Жарко ли топится твоя печь?» — «Жарко, батюшка...» — «А подбрось-ка ты в нее еще дровец, чтобы растопилась она совсем жарко... Дунюшка аж забелела вся: «Не дам, кричит, свою детю на жестокую смерть! Я, говорит, его родила, я попробую ему легкую, ангельскую смерть применить...» Ну, подушила его сначала рукой, потом подушкой, а силы настоящей, чтобы додушить окончательно, конечно, нету: после родов ослабши... А самое трясет как в лихотанке. Нажевала она ему хлебца в соску, да так с хлебцем и отправили в огонь.. А мне о тое пору, не помню уже зачем, — понадобилось их проведать. Митревна, как обгорели косточки, выгрела из печки кочережкой и послала Дунюшку закопать поглубже в погребец — а я и вот он: встретился в сенцах... Гляжу: стоит девка прислонясь, совсем не живая... А в руке у нее совок, и на совке не разобрать что... «Чтой-то, говорю, Дунюшка, лица на тебе и того нету?» Она как заплачет и сует мне совок для рассмотрения. Ну, тут все и об'яснилось...

— И что же?—воя дрожжа спросила женщина в платочке,— что же им было на суле, зверям этим?

Ее побелевшие губы дергались, как от озноба, и пальцы судорожно шарили по юбке. Ее сосед—викинг—сидел не шевелясь, словно не слышал рассказа старика, его глаза—голубые и равнодушные—смотрели в окно, в поля, проходившие мимо, на попаленное золото деревенских крыш, казавшихся за буграми прошлогодними стогами сена...

— Засудили недалеко—это верно, на три года, а по темноте и невежеству дали условное... Спрашивает судья: «Сделаете ли такую мерзкую преступлению во второй раз?»—«Нет, отвечает Дунюшка, не сделаем»... Тем все и кончилось. Да вон они в соседнем купе едут...

Собеседники, словно замороженные, повернули головы в соседнее купе. Старухе, чтобы рассмотреть, пришлось слезать, и она с легкостью овцы соскочила с полки. Они рассматривали их так, как рассматривают редких зверей в зоологическом саду. Старуха-мать еще спала, ее голова была укутана в платок так крепко, что душила шею, по лицу ее, желтому и мертвенному, как пергамент, лежали красные пятна, чуть дрожавшие от дыхания на складках у большого, с зелеными обломанными зубами рта. У окошка стояла девушка, в новых ушастых полусапожках (не тех ли самых?), бледная и тоненькая, как срезанный стебелек. Простое и бледное лицо ее было спокойно. Заметив, что ее рассматривают, она стыдливо закрылась концом свисавшего с плеч платка.. На верхней полке упирались в потолок два огромные размокшие сапога, должно быть, они были Ивановы... И, может быть, от взгляда в спокойные глаза Дунюшки, или от застенчивой ее улыбки, или от сквозняка, остро тянущего в раскрытую дверь,—глаза женщины в платочке затрепыхались, как подстреленные крылья. Они стали большими и безысходными, если нагнуться к ним поближе—в них, как в половодье, можно утонуть в страшной пучине женской доли. Подумав так, викинг стал связывать чемодан, дивясь мелкой потной дрожи, которой задрожали его пальцы. Ему хотелось сейчас же уйти из купе, выйти на площадку, вздохнуть полной грудью, как в удушье...

Но в этот момент поднялась с лавки шинель и с веселым удивлением, не обращая ни к кому, сказала:

— Как раз о сию пору в прошлом году я свою жену убил после сладкого поцелуя в ее уста. А пришлось мне задушить ее вот этою самую рукой безо всякого к тому сожаления...

Он поднял руку, собеседники со страхом посмотрели на большую ладонь во вздувшихся жилах. Викинг присел на лавку,—не в силах ни вздохнуть, ни выйти. Солнечные лучи липко наливались в окно, подымая с пола пыль и плевки на полу казались сгустками крови.

— Я ль не могу отличить, которая приститутка или которая в семейном естестве? Я это дело всей душой своей понимаю! И вот

вышел я ночью в Москве, на Твёрской бульвар, гляжу: идет одна, костюм на ней—на честном слове держится, и для привлечения проходящих зигзаги собой выводит. Ну, я, конечно, толкну-подмигни, она в ответ не супротив, и в тот же вечер имел я с ней сношение и очень серьезный разговор. Сидел я у ней в комнате,—тяжело у пристипутки в комнате сидеть, когда—простите за грубое слово—все кончено, приличным разговором говорить больше не о чем, а уходить тоже отчего-й-то не хочется. По стенкам у нее—бумажные цветы, фотографии солдат со зверскими лицами и с обнаженными шашками, какой-то волосатый человек с задумчивым взглядом, а промежь продчего надкусанный мелким зубом сыр на столе и початая бутылка пива. Отвратительная картина! И вот с этого самого вечера полюбилась она мне невыразимо. Стой, говорю: у тебя светлые ресницы, и, когда ты улыбаешься, похожа ты на невинную девушку, и жалко мне тебя до слез: погибнешь ты обязательно. А было мне в ту пору 22 года, и всю жизнь я произошел до основания: потому как с семнадцати лет воевал, и не одно, а, может, сто брюхов пропорол штыком, а сам тоже два раза от расстрела еле живой ушел. На войне обык я, что патрон дороже жизни стоит,—так и смотришь, бывало, как бы для икономии одним патроном двух срезать, а тут словно мне в голову вступило! Скольких я убил, скольких осиротил, а какое такое добро и кому я сделал? Гляжу на ее, конечно, напудренное лицо и думаю до холодного поту: а, может, я ейного жениха разменял, и про то она по легкой дороге пошла? И вступила мне в голову такая невозможная картина: повели мы раз семерых белых расстреливать на железнодорожную насыпь. Пришли на краюшек, а я команду: «Становься в затылок!»—чтобы по двое стрелять. Ну, конечно, они, как овцы все одно, становятся в затылок, а я смотрю на такую их смертную покорность и думаю: «вот человека убиваю, а равню его в таком деле с овцой, а смогу ли я эту овцу в самом деле зарезать?» Ну, конечно, постреляли мы их в голову, полетели они, словно мешки с мукой с насыпи, а там внизу бабы ожидают: одежду снимать...

Он замотал головой, словно вспомнил что-то очень веселое и продолжал:

— ...и нас же бывало после расстрелу ругают, если одежда в крови. Не пропадать же, конечно, одежде! Возвращаемся мы в село, а старшой и говорит: «Брыжатый, гоаорит,—это меня Брыжатым за короткий волос звали,—подрежь, говорит, барашка на ужин»... А я как задрожу беспричинно, и зуб на зуб попасть не могу... Так ведь и не мог прирезать овцу, а пустяковое, кажись, дело! И вот тут-то и пришла мне в голову невозможная картина: будто стоит она, как овечка малая, а я над ней в роде как с ножом и проколоть целюсь... «Стой, говорю, Ира,—Ирой ее по городскому звали,—чувствуешь ли ты, какой великий момент в жизни наступает? Все, говорю, про тебя знаю, и что б... ты, и что всякому на поругание низких страстей отдавала свое тело,

а только на всю жизнь хочу я тебя осчастливить: зову я тебя к честной жизни, и завтра же пойдем расписываться, и будем мы жить, как муж и жена». Она было не поверила. «Все, говорит, вы так говорите, когда платить надо, а ты, говорит, сначала заплати, что с тебе следует, а потом будем разговор иметь». А у меня, товарищи, словно солнце в груди кипит, даже дышать трудно! Вынул я кошелек, там, может, четыре червонца было, положил ей на стол,—на, говорю, все тут—сорок рублей, и я тебе верю, потому что с этого великого момента—моя ты возлюбленная жена. Заплакала она, в ноги мне кинулась. А я говорю: встань,—я хуже тебя, я, может, с тобой от кошмарного сна просыпаюсь...

Ну, зажили мы так хорошо, что и сказать не могу. Нету вот теперь ее, и обманула она меня в самую душу, и отсидел я за нее два с половиной года, а все, как припомню четыре месяца нашей жизни, представляется мне, словно я двести тысяч потерял... Рукоеслом я, конечно, плотник, уходил на строительные работы, а она, конечно, дома, а как приду, все мы, конечно, нашу необыкновенную встречу вспоминаем, и про то, как осчастливил я ее прелестным поступком. А жил в нашей же квартире старик, Семен Шишкин, из старообрядцев и по мукомольной части. И очень он к нашей семейной жизни подошел, а мне говорит, бывало, что такой я поступок с Ирой сделал, что другому легче убить, чем такой прелестный поступок совершить... И очень меня за то уважал: придет—счас за пивом посылает, за вином, а Ире сыр—уж очень она сыр любила,—совсем как друг дома у нас был... И вот этот-то лукавый старик и разбил мою жизнь беспричинно жестоко. Чем он обошел ее, чем улегил—в толк не могу взять, и только отдалась она ему, и прямо скажите—по-бабьи тем мне за все отплатила.

—Да, вот я сейчас,—заторопилась шинель, отстегивая полу,—про все то дело имеются у меня важные документы, которые я вам представлю...

Он достал слежавшиеся листы бумаги и, хрипловато прокашлявшись, стал читать:

«Крестьянин Смоленской губернии Гжатского уезда Савинской волости села Горелые Петушки Семен Шишкин пользовался нелегальной чужой женой гражданина Антоненко—гражданкой Антоненко, Ириной Николаевной, начиная с осени 1923 года по 9-ое марта 1925 года. Придя в воскресенье часов в 10, уважаемый до сего времени Семен Шишкин послал меня, как и всегда, за пивом и вином. Мне что-то странным показалось на этот раз его вино и пиво и, выйдя из парадного и обежав на черную лестницу, я увидел все в окно и замер от ужаса. Я увидел распростертую на полу мою жену в об'ятиях со спустившимися штанами и полной работой момента проклятого теперь старика Семена Шишкина. Не помня себя от ужаса, я побежал в дом и увидел на черной лестнице растрепанных до изнеможения фигур, он по дороге сказал: «Ну-к, что ж, значит: он все видел!».

Здесь же заверяется тремя подписями печальный факт, а также то, что Семен Шишкин брал и насиловал мою жену в мое отсутствие, без всякого на то ее согласия, ссылаясь на то, что давал несчастные гроши на хлеб моей жены, и это в то время, когда мне, мужу потерпевшей, было действительно трудно в деньгах, но теперь, когда открылась картина его низкого поведения, я способен на все. Но не идя на лишние жертвы только по просьбе долгих слез моей жены и оценивая ее молодое тело, которое долгое время грязнилось каким-то шестидесятилетним стариком — я требую от изнасилвателя моей жены определенную сумму денег на поправку ее здоровья, с вычетом 23 рублей, которые он давал будто бы на хлеб, прикрываясь великодушным поступком.

Настоящая бумага заверяется подписями, может быть, будущими жертвами всех троих лиц. Муж потерпевшей жены Антоненко, Николай Петрович. Жена негодная и слабохарактерная Антоненко Ирина Николаевна. Любитель чужих жен и изнасилователь Семен Шишкин. 9 марта 1925-го года».

— Горю моему,—продолжала шинель, аккуратно сложив первую бумажку и вынимая вторую,—не было границ. На проклятого старика я подаю в суд за изнасилование и лечение моей жены в санатории, потому как он довел ее половыми сношениями до бледноты лица и чахотки. А с ней приступил к серьезному разговору в тот же вечер... «Понимаешь ли ты, говорю, что ты только сделала?»—«Не кори, отвечает, меня, я тебе клятву дам, что это больше никогда не повторится, а уместил он меня по причине нашей нужды»... Поверил я, что от доброго ко мне чувства, а по несознательности сотворил большую ошибку. «Хорошо, говорю, Ира, но только не нужны мне жертвы прекрасного молодого тела, и дай ты мне на том клятву». Заливаясь слезами, села она за стол и написала мне расписку.

Он развернул второй листок и стал его читать:

«Здесь на листе бумаги я даю клятву верности своему мужу, хочу облегчить себя лишней раз под сильными справедливыми словами моего мужа и сказать ему, что во второй раз вырванная из грязной паутины как муха—я переродилась и сделаю крепкой и энергичной, а самое главное, верной горячо любящему моему мужу Коле. Если заметит за мной в будущем—он может и я позволю ему все сделать над собой или дать ему развод. Тут же упрости не раз пролитыми мной слезами совершить надо мной свой прелестный поступок во второй раз—я заново на бумагу для подтверждения слов и доказательств, что до этого времени я была действительно негодная слабохарактерная женщина, жертва своей темноты и прошлого режима. Подписываясь здесь, веря в его святую и чисто доказательную любовь, верю теперь в свое мужество быть верной женой. Я верю в великую мать-природу, природу, которая поможет мне в борьбе за счастье жизни и выполнить все то, что здесь написано живой рукой человека любящему мужу моему Коле. Ира».

«Пускай накажет меня невидимый дух природы, убьют молния и солнечный луч, если я пойду против написанной здесь клятвы Ира и Коля».

— Прописано все основательно,—сказал старик; когда шинель, кончив читать, принялась прятать документы,—ловко прописано, но я тебе про то и скажу: заел ты ее, видать, своей жалостью до гребовой доски..

— Это ты верно!—обрадованная его догадливости воскликнула шинель,—так оно и вышло впоследствии времени!

— То-то и говорю: жалость тоже понимать нужно и со вниманием жалеть... И как же прикончилась ейная жизнь?—закончил старик деловитым вопросом.

— А я же ее и задушил!—отвечала шинель,—в аккурат через неделю после печального факта. Стала она после того все же задумчива, и опять на стенку волосатого человека повесила, сидит—смотрит, как статуя...«Что же, спрашиваю, твое задумчивое положение обозначает? Я же, говорю тебе, во второй раз простил, ужели, говорю, ты такое благородство моей души чувствовать не способна?»—«Нет, отвечает, всякое твое благородство я даже очень на себе чувствую, и очень тебе благодарна, потому что через тебя я в жизнь вышла».—«Чего ж, спрашиваю, тебе еще недостает?» Молчит. «Полюбила ты того старика проклятого?» Молчит. Стали мы так в молчанки играть, а чувствую я, как в ей оборвалось что... Стала опять из себя бельенкой, худенькой, как овечка, и прежнего интуизма нету, взирает на меня, словно я ейный палач, а не спаситель. И вот вышли мы вечером к Новодевичьему монастырю: подышать свежим воздухом. Тепло было, природа стоит в полном великолепии, бесчувственную тварь и ту весна пробуждает. Посидели, конечно, у реки, лед только что прошел, небо серая, а ясная, в лицо ветерок ласится, а я и начинаю разговор, равнодушно, будто и не с ней: «Загадочная, сетайки, ваше бабье естество! Вот, говорю, хоть тебя, к примеру, взять, вытащил я тебя из омота грязи, жизни своей не пожалел, и сколько укоров товарищей принял, что женился на приститутке—про то одна моя думка знает. И все это ради своего прелестного поступка претерпеваю, а видно, товарищи-то правее меня: баба—она завсегда первеющая стервь: спасать ее из самой глыби будешь, она тебе за палец укусит»... Сказал я так, а сам поглядываю сбоку: какую еронию вызовут мои справедливые слова? «Зачем же,—печально отвечает,—и спасать было? Толкни обратно!» А я и скажи в шутку: «По твоей расписке очень просто могу тебя задушить». Озлилась она, зубы оскалила и кричит: «А задуши, попробуй! Ты,—говорит,—одним патроном двух людей расстреливал»...—«А ты, баба, не шуткой!»—«Я, отвечает, не шуткую»... Взял я ее, конечно, за шею, а она как укусит меня за руку, плюнула мне в лицо и шипит: «Души, души крепче! Ай только на словах герой?» И такая меня гадость в тот момент проняла, не могу и об'яснить вам, товарищи дорогие. Встал я,

руки от ейной слюны обтер, да прямком и пошел в милицию. Говорю: на пригорке под Новодевичьим монастырем я сей секунд человека убил, жену свою из ревности, лежит она еле теплая»...

Рассказ он кончил и встал с притворным равнодушием:

— Пойтить оправиться что ли?

И все посмотрели почему-то на его лапти, ступавшие с неловкой уверенностью, а когда он прошел в соседнее купе, из которого уже давно прислушивалась к разговору Дунюшка, старуха с печальной, успокаивающей жалостью заговорила, обращаясь к женщине в красном платочке:

— И выходит, милая, на верный хвакт, что он же во всем и виноват... Баба, которая довольна и в своем естестве, никогда от живого мужа не пойдет... У нее никаким мозгом любов не отшибешь... Все они изверги—мучители...

Но женщина в платочке не отвечала ей. Она, не отрываясь, глядела на лицо викинга, на светлые его волосы, разметавшиеся пламенной гривой по воротнику. И, когда он встал и, щупая рукой стену, пошел на площадку все с той недоумевающей, но упрямой улыбкой, вдруг сделавшей его лицо прозрачным и мудрым, и в сознании своей мудрости жестоким,—в серых, как весенние лужи, глазах женщины зажегся такой свет, который был ярче весеннего солнца, величаво поднимавшегося за окном над гнилью раскрытых, зарождавших полей...

ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ.

## Героическое.

Говорят: когда-то  
Шустрым, беспечным была ветерком,  
А в памяти:  
Над свалкой лохматой—  
Заживо гниющий дом.  
Копошилась, змеилась плесень;  
На обоях чахли цветы;  
У захожих, у редких песен  
Сердце звучное—  
На болты.  
Был рассвет—  
Как лицо пропойцы,  
Тускл, и сумрачен, и глух;  
И тряпьем замызганным солнце  
Над лоханью висло в углу.  
Жизнь и дальше бы—мутным комом  
Дней, забот, обид и заплат,—  
Только вспыхнул вдруг  
По-иному  
За шлагбаумом пыльный закат.  
И заводом литейным измятый  
В тот закат он пришел на пустырь.  
Травы ржавые—  
Тихою мятой,  
Горькой полынью—кусты.  
Но от блузы его —  
Упорство;  
Кладью на-плечи—день любой...  
В этот вечер не малой горстью,—  
Полной мерой была любовь.  
С той поры и дни, и годы  
Жизнь плечом к плечу вела.  
Юность наша—труд и походы,  
Боль и подвиги—  
Пополам.

Может быть, оттого у сына  
 По-звериному крепок шаг:  
 В первый крик его—  
 Крик равнины,  
 Груз дорог—  
 На его плечах.  
 Сын посмотрит в глаза мне,  
 И мнится:  
 Солнце, радуга, грозный поток,  
 И бескрылой и хриплой птицей  
 Кто-то темный у наших ног.  
 Сын посмотрит в глаза мне,  
 И следом:  
 (Как забыть мне? изжить когда?)  
 Мглой и гарью, ордой и бредом  
 И дороги, и города.  
 Сын посмотрит в глаза мне,  
 И ржаньем:  
 Ночь... окопы... атака... огонь...  
 И над мертвым телом хозяина  
 Боевой его верный конь...

Мать моя! Страна родная!  
 Мы с твоим быльем—  
 На ножи.  
 Знаем мы: есть юность иная  
 И для жизни той—  
 Наша жизнь.

И. ОБРАДОВИЧ.

## Из цикла „Кавказ“.

Вечер. Солнце. В розовом Батуме  
 Пальмы несказанной красоты.  
 Девушка в живом зеленом шуме  
 Продавала красные цветы.  
 От стола слова ее звенели,  
 Черными глазами от стола  
 Больно жгла прохожих на панели,  
 Сердце не одно мое прожгла.  
 Жгла глазами. И один прохожий  
 Стал, любуясь на ее черты,  
 Заплатил гораздо ей дороже,  
 Чем она просила за цветы.  
 Только я с улыбкой незнакомой  
 Ждал один у каменной стены,

Любовался от чужого дома  
 На глаза—огонь ее весны...  
 Подошел. Надвинул шляпу лихо  
 И спросил: „Скажи, откуда ты?“  
 И она ответила мне тихо:  
 „Видишь, милый, продаю цветы“.  
 Вечер ближе. Солнечные ткани  
 Становились меньше и светлей.  
 „Я от гор любимой Эривани,  
 От садов ее и от полей“.  
 „А откуда ты?  
 Хочешь, подарю тебе цветы?“  
 —Мне цветов, красавица, не надо,  
 На цветах не слезы, а роса.  
 Будет для меня одна, одна отрада,  
 Если ты подаришь мне глаза...  
 „Ах, какой же ты насмешник, право“.  
 И она с поклоном головы  
 Прошептала нежно и лукаво:  
 „Ты, поэт, наверно, из Москвы.  
 „Ах, какой же ты смешной.  
 Над тобой,  
 Надо мной  
 То же солнце,  
 Тот же месяц молодой.  
 А под солнцем  
 Тот же герб—  
 Молот-Серп.  
 Ах, какой же ты смешной.  
 У меня—твои глаза“.

СЕРГЕЙ МАЛАШКИН.

## В воздухе.

Все детство—между пней и кочек,  
 Вся юность—рабство и тоска,  
 И вот теперь он—красный летчик,  
 Влюбленный в синь и в облака.  
 Сквозь набегающие хляби  
 Летел, процеллером ворча,  
 В пустой и брошенный Челябинск  
 С тяжелым именем—Колчак.  
 Под резкие и злые крики  
 Маячил в воздухе пустом,  
 Когда ликующий Деникин  
 Наполеонил под Орлом.  
 Теперь же под советской маркой

Летает, не боясь преград,  
 То из Москвы в рабочий Харьков,  
 То из Батума в Ленинград.  
 Он, зачарованный простором,  
 Бессмертье видит впереди,  
 Живет одной мечтой с мотором  
 Влекущий воздух победить...  
 Пусть детство—между пней и кочек  
 Пусть юность—рабство и тоска,  
 Но без боязни красный летчик  
 Летит в грядущие века.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

\* \*  
 \* \*

Не отвыкну от ячменных каш я,  
 Не забуду пенистую рунь.  
 Заиграл у тихого зашляшья  
 Молодой и ласковый июнь.

Закачались ласковые яри,  
 Грусть имен в колосья затая...  
 Русь моя, в синеющем загаре,  
 Родина хорошая моя!

Приютились мирные забавы  
 У поселков, рощ и хуторов,  
 И пасут некошенные травы  
 От испревших доеных коров.

Сердце лету, как невесте, радо,  
 Как прилету вешних журавлей.  
 Напоили пахаря отрадой  
 Росы росные немеряных полей.

И зовут и тянут перезвоны,  
 Перезвоны солнца и ветров,  
 На пятнисто-клеверные склоны,  
 Под навесы сплюснутых дворов.

И легко, что в тихие зашляшья  
 Воротился ласковый июнь...  
 Не отвыкну от ячменных каш я,  
 Не забуду пенистую рунь.

ГЕОРГИЙ ХВАСТУНОВ.

# Черноморское восстание<sup>1)</sup>.

(Воспоминания).

## Немецкий централ.

**В**ыборы 16 ноября, давшие парламенту реакционное большинство Национального блока, были тяжелым ударом для осужденных: последние надежды на освобождение исчезали, как дым.

Отбывающие наказание в морской тюрьме Тулона, а также исключенные из военной службы были размещены по тюрьмам Э'Драгиньяна и Ниццы. Осужденные же к более тяжким наказаниям были отправлены в центральную тюрьму в Ниме.

Тюрьма эта представляет собой старую крепость, обнесенную высокими мрачными стенами. Мастерские устроены в казематах, а бесчисленные одиночки и общие спальни кишат мириадами клопов. Нимская центральная тюрьма пользуется печальной известностью по всему югу Франции не столько потому, что в ней многие годы томился Луи Блан, а потому, что за ней установилась репутация места страдания и ужасов.

23 декабря в Нимский централ прибыла прямо из Тулона партия из 21 матроса, все приговоренные или к заточению<sup>2)</sup> или к простой тюрьме. В их числе были с «Франс»: Канон, Деларю, Фраккия, Юре, Лагайард и Рикро; с «Прованс»—Лескус, Мемен, Рудьер, Трува; с «Туарега»—Брюнетти, Фонс и Веронико, все они были осуждены на заточение. Из присужденных к тюремному заключению были: Лекок с «Дидро», Амелен, Кунс и Туре с «Прованс».

Одновременно прибыл и солдат 2-го полка горной артиллерии, осужденный на 15 лет каторги за неповиновение в Тирасполе.

Всех их немедленно распределили по мастерским. Они все время были бодры и полны надежд, а я передал им, как только

<sup>1)</sup> Окончание. См. № 7.

<sup>2)</sup> Заточение (detention), наказание ниже каторги, но выше простой тюрьмы, предусматривается за военные и политические преступления и назначается на срок от 5 до 20 лет.

они появились, записку с братским приветом от солдат, осужденных за херсонский мятеж. Таким образом, вновь прибывшие не чувствовали себя совсем одинокими.

В тюрьме сейчас же были заложены основы тайной организации: несмотря на обыски и облавы, матросы мало-по-малу наладили между собой регулярные сношения. Почти ежедневно я пускал по мастерским отредактированные мною сообщения, прилагая к ним вырезки из газет, какие только удавалось достать. Со своей стороны, арестанты сообщали мне обо всем, что узнавали. Так мы «жили», связанные общими воспоминаниями и общим революционным идеалом, позволявшим нам бодро выносить наши страдания.

Надо отметить, что присужденные к заточению по закону подвергаются особому режиму. Так, им разрешаются книги, разговоры между собой, ежедневная переписка и прочее. Но в нарушение закона, с ними обращались, как с обыкновенными уголовными преступниками.

Если бы дело шло о какой-нибудь крупной шишке, в роде Кайо, то, конечно, он пользовался бы не только законными льготами, но и еще иными поблажками. Даже в тюрьме буржуазия сохраняет свои классовые привилегии.

С октября 1919 года в Париже под руководством энергичных людей образовался «Комитет защиты матросов». Средства комитета были до смешного малы, но члены его, сильные своим энтузиазмом, непрерывно воздействовали на общественное мнение с жаром, который ничто не могло ослабить. Комитет проделал невероятную работу, рассылая совсем юных мальчиков и девушек расклеивать ночью по Парижу рисунки и сенсационные плакаты, организуя своими средствами, без всякой помощи со стороны, митинги, высоко поднимавшие настроение рабочих. Газеты были вынуждены заговорить о событиях на Черном море. Так началась кампания за амнистию.

Под давлением «Комитета помощи» в апреле 1920 года были амнистированы три матроса с «Дидро». Тем временем до арестантов стали понемногу мало-по-малу доходить вести с воли. Мы узнали о волнениях среди рабочих и о большой железнодорожной забастовке в мае месяце и думали, что революция близка. Поэтому мы организовали по моей инициативе боевую группу, чтобы при первых известиях о революционных боях поднять восстание в тюрьме, пользуясь тем, что войска, наверное, будут заняты уличной борьбой. Глубоко было наше разочарование, когда мы узнали о подавлении железнодорожной забастовки и с этой поры все помыслы заключенных направляются на снабжение их защитников необходимым агитационным материалом. Мы прежде всего начали осведомлять «Комитет» о положении в тюрьме. Разумеется, начальство обрушилось на нас с репрессиями, наказания посыпались дождем, но мужество заключенных невозможно было сломить. В июне мы услышали

о том, что в одной из частных мастерских в Бокере, принадлежавшей арендатору тюремных мастерских, Ландре, вспыхнула забастовка. Тотчас же, по предложению солдат-арестантов, членов революционной группы, забастовка была организована и в тюрьме. Я попытался тайком переправить записку бирже труда в Бокере, извещая ее, что мы поддерживаем их товарищей рабочих и приводя слова, сказанные хозяином мастерской: «Пусть себе рабочие бастуют, у меня для работы есть каторжники».

К июлю 1920 года жестокость тюремного начальства дошла до высших пределов. В это время я, как и многие другие, заболел острым воспалением кишек. Причина болезни была та, что администрация, чтобы ускорить варку бобов, которыми она нас вечно кормила, клала в котлы поташ.

Я промучился три дня, ничего не ел и, наконец, попал к врачу, который признал меня здоровым. На другой день я опять явился к нему же и потребовал, чтобы меня начали лечить, но в ответ доктор пригрозил мне карцером. Я обозлился и назвал его убийцей, после чего доктор выгнал меня из амбулатории. На прогулке я упал, и меня отнесли в больницу, где врач продержал меня 12 суток на молоке, ни разу не дав ничего больше. Хотя меня тайком подкармливали другие арестанты, я был так слаб, выйдя из этого ужасающего госпиталя, что в течение 10 дней не мог подняться в спальное помещение без помощи своего соседа по цепи, при чем я еще вынужден был нести насмешки надзирателей, не имея возможности им ответить.

В это же время (июль 1920 года) под давлением общественного мнения, взбудораженного «Комитетом защиты матросов», палата целым рядом интерпелляций начала обсуждение вопроса об амнистии. Осужденные напряженно следили за прениями по тем скудным обрывкам сведений, которые до них доходили. Как вдруг мы узнали, что сенат отказался поставить на обсуждение вопрос об амнистии и распустил себя на каникулы!

Мы не пришли в отчаяние, что было бы вполне естественным, наоборот, в нас вспыхнула упорная воля к борьбе. Наэлектризованные моими сообщениями, осужденные каждую ночь, несмотря на дозоры, обходы и обыски, принимались записывать точно, что каждый из них видел в Черном море, как его судили и на какие страдания и лишения обрекли. Из этих записок я составил об'емистую тетрадь и в сентябре 1920 года ухитрился передать ее на волю, предупредив об этом своего брата Мишеля Марти, который должен был забрать эти материалы.

В это время Бадинà, высланный из Италии, был арестован французскими властями в Ментоне и препровожден в тулонскую военную тюрьму. Кампания за амнистию тотчас же усилилась под влиянием «Комитета помощи», а у нас в Ниме одновременно усилились репрессии: маленького Брюнетти буквально заморили в карцере—он медленно умирал. Но уже 1-го октября

были амнистированы Туре, Кунц и Амелен. Это было первым достижением.

В течение сентября—октября 1920 года, в Ниме были проведены один за другим три митинга и демонстрации. Третья по счету демонстрация, устроенная 14 октября «Комитетом помощи», оказалась настолько внушительной и бурной, что войска были наготове, а тюремная стража усилена из опасения, как бы не разнесли тюрьму.

К несчастью, за два дня перед этим полиция арестовала моего брата Мишеля и нашла у него об'емистый сборник воспоминаний, написанных заключенными. Поводом к аресту послужила придриска о нарушении братом каких-то полицейских железнодорожных правил. Его продержали с неделю в строгом одиночном заключении в Сетте, а тем временем изучали взятую у него тетрадь. Затем его выпустили, но бумаг так и не вернули, несмотря на последующие хлопоты. Среди бумаг были не только подробные воспоминания о всех случаях восстаний и мятежей на Черном море и о последовавших затем судебных процессах, но также и карикатуры и рисунки агитационного характера и два революционных воззвания, адресованных одно «Комитету защиты матросов», а другое—Марселю Кашену, депутату социалистической партии. Был как раз тот момент, когда об'единенная социалистическая партия приступала к обсуждению вопроса о присоединении к Коминтерну. Нам в тюрьме удалось раздобыть номер «Юманите» с отчетом Кашена и Фроссара об их поездке в Советскую Россию.

Тогда-то по поручению товарищей я составил обращение к съезду (он состоялся в Туре в декабре 1920 г.) с призывом по адресу французских социалистов вступить в III Интернационал. В обращении между прочим говорилось:

«Если вы захотите выслушать тех, кто страдает, тех, кто видел русскую революцию, мы вам скажем: если вы действительно хотите освободить пролетариат от его цепей, если вы хотите быть революционерами на деле, а не только на словах, вы должны бить врага его же оружием, т.-е. итти с пулеметами против пулеметов и действовать силой против силы. Поступать иначе бессмысленно и преступно».

Призыв на четырех страницах большого формата заканчивался следующими словами:

«Несмотря на жестокие кары, угрожающие нам в случае, если это воззвание будет перехвачено, мы взываем к вам со всей силой нашего убеждения: присоединяйтесь к III Интернационалу! Подпись: от имени революционных матросов и солдат, заключенных в Нимском центре, Андре Марти».

Можно себе представить, какой эффект произвел этот документ, когда полиция его нашла, прочла и приобщила к моему делу.

Несмотря на обыски и слежку, начальству так и не удалось установить, каким путем мы сообщались с волей. Нафонец, 48-часовая забастовка, проведенная арестантами с необыкновенной выдержкой и согласием, с требованием улучшения пищи и повышения зарплаты, окончательно перепугала администрацию: она не чувствовала себя хозяином положения и ждала, что вот-вот в один прекрасный день каторжники выломают двери своей тюрьмы.

Поэтому-то по специальному распоряжению главноуправляющего мест заключения матросы были переведены из Нима, где рабочие слишком интересовались жертвами буржуазии.

В последних числах октября все заключенные, кроме Брюнетти и меня, двумя партиями покинули Нимский централ. Их перевели сначала в Френ, оттуда, после длительного пребывания в одиночках, распределили группами по 4, 5 или 6 человек по централам Туара, Фонтерво, Лооса и Болье, где они содержались в самом строгом одиночном заключении. Через несколько дней, 16 ноября, меня неожиданно перевели из Нима в одиночную тюрьму в Ницце и тоже тщательно изолировали от внешнего мира.

Так буржуазия мстила за выступление пролетариата в пользу его братьев и мучила их.

### **Замурованные заживо.**

В декабре 1920 года положение стало трагическим: осужденные за восстание томились в одиночках, переноса самое жестокое обращение.

Фонс, Фраккия, Юре и Веронико находились в одиночном отделении смирительного дома (каторжной тюрьмы) в Туаре (департамент де Севр). Тюрьма эта, старый замок герцога Тремуйля, издали имела живописный вид, но внутри ее царилася самая мрачная и свирепая дисциплина: каждый вечер сильные духом молодые узники слышали крики своих соседей, избиваемых надзирателями.

Канон, Лескуе, Мемэн и Рикрос находились в Лоосе (Северный департамент); Деларю, Лагайард, Рудиер и Трува—в отвратительной тюрьме Фонтевро, старом, холодном и мрачном монастыре.

Я сидел в Ницце в строжайшем одиночном заключении, совершенно отрезанный от внешнего мира.

После того, как Перрона в сентябре 1919 г. перевели в Мелун, осужденные матросы оказались рассеянными по всем французским тюрьмам» правительство боялось молодых людей 22 лет!

Тогда «Комитет помощи матросам» и мои братья начали в Париже и по всей стране бешеную агитационную кампанию,

отчасти в связи с арестом Бадинá, главным же образом, по поводу зверских репрессий, сыпавшихся на заключенных.

Борьба за амнистию разгоралась, в течение зимы 1920—21 года участились митинги. Они произвели на правительство известное впечатление, так что одному из моих братьев было даже официально заявлено, что если он получит от меня формальное обязательство никогда не заниматься политикой, я буду освобожден. Нечего и говорить, что я не считал даже отдаленно возможным вступать в такую сделку.

Общественное мнение особенно было настроено в мою пользу: я в это время проводил целые дни в том, что как дикий зверь кружился по своей камере, страдая от холода и голода. Чтобы успокоить общественное мнение, Бриан, тогдашний глава правительства, распорядился о переводе меня в Туарский смиренный дом в общество других 17 каторжников. Я прибыл в Туар 2 февраля полумертвый от голода и усталости. Там я был снова посажен в сырую одиночку штрафного отделения, хотя правительство и заявляло, что я подвергнут общему режиму. Казалось, пришел мой конец: правительство Бриана, с гнусностью, достойной этого старого пройдохи, продолжало терзать своего пленника, не смея в этом признаться. Режим и климат в Туаре оказались для меня худшими, чем в Ницце.

### Процесс Бадинá.

После бесконечного следствия процесс Бадинá начался, наконец, в Тулоне 8 марта 1921 г. и продолжался 3 дня (Бадинá был арестован 23 сентября 1920 года). Я был вызван в качестве свидетеля со стороны защиты. 1-го марта меня отправили из Туарской тюрьмы в Тулон под конвоем трех вооруженных до зубов жандармов. На протяжении всего пути полиция была на-чеку: в Бордо и Марселе я пересаживался, окруженный целой сворой полицейских. После двадцатичасового путешествия я прибыл в Тулон, где, кроме жандармов, ко мне приставили еще взвод из 20 полицейских-велосипедистов при офицере муниципальной полиции, полицейском комиссаре и под командой начальника государственной полиции Блана, жестокого типа, убитого несколько времени спустя. Мало того, арестный дом был окружен еще другими полицейскими циклистами и чинами охраны. Всякий раз, как меня вели из тюрьмы в военный суд и обратно, принимались те же меры предосторожности. Они показывают, до какой степени правительство боялось народного волнения.

Само собой разумеется, я все время содержался в строгом одиночном заключении.

Процесс начался 8-го утром и прения были записаны стенографически благодаря стараниям морского министерства.

Вечером в пятницу я выехал обратно в Туар через Лион, где узнал, что Бадинá получил 15 лет заточения: никогда я не мог

подумать, что приговор будет так суров. Правительство Бриана доказало, что оно стоило не больше, чем правительство Пуанкаре.

Что же касается Бадинà, то его после разжалования перевели в тюрьму Сен-Пьер в Марселе, откуда в августе 1921 года его перевели в Ним. Между тем, по закону его следовало бы поместить в Клерво (по роду его наказания). Но правительство, несомненно, руководствовалось «особыми соображениями».

### Амнистия Бриана.

Когда я вернулся в Туар (12 марта), помощник начальника тюрьмы, заменяющий отсутствующего директора, сообщил мне, что готов отменить мне наказание одиночным заключением, если я дам формальное обещание вести себя спокойно и не делать попыток сообщаться с волей. Я решительно отказался и поэтому был оставлен в одиночке.

Наконец, 31 марта, под давлением извне, меня перевели в качестве механика в сапожную мастерскую, но спать и есть я должен был в своей одиночке. Такая мера вообще была с точки зрения администрации ошибкой, так как, получив возможность выходить из одиночной камеры, я тотчас же узнал, что 4 из матросов, бывших в Нимском центре, находятся в одиночном отделении, и поспешил установить с ними регулярные сношения.

Процесс Бадинà вызвал новую энергичную кампанию. В Тулоне состоялись большие митинги, и рабочие круги по всей Франции требовали амнистии. Под давлением рабочих вопрос об амнистии в апреле был снова поставлен в палате депутатов.

29-го апреля закон об амнистии был принят. Это был уже второй закон. На основании новой амнистии были освобождены заключенные в Гишене солдаты, восставшие в Херсоне, и некоторые другие.

Еще через месяц, 27 мая, меня официально уведомили о том, что остающийся мне еще срок двадцатилетней каторги заменен 15 годами заточения. Это было равносильно издевательствам. Дело в том, что как раз тогда стали поговаривать о возобновлении прерванной с 1914 года отправки каторжников в Кайену (место ссылки во Французской Гвиане, в Южной Америке), и я твердо решил бежать по дороге в Гвиану.

Кроме того я считал, что замена каторги 15 годами заточения не что иное, как постыдное лицемерие со стороны правительства Бриана. Поэтому-то я заявил директору, что хочу или разделить участь остальных каторжников или быть немедленно освобожденным. А так как директор уклонялся от ответа, я обратился к морскому министру со следующим письмом:

«Отказываясь в послушании в Черном море и пытаюсь вызвать восстание среди матросов, я только следовал принципам конституции французской республики. Поэтому прошу Вас распорядиться, чтобы меня немедленно освободили в ожидании

момента, когда вы отдадите под суд настоящих виновников интервенции в России».

Разумеется, из этого письма ничего не вышло.

Тогда, чтобы добиться перевода в одну тюрьму со своими идейными товарищами, я заявил энергичный протест против содержания в каторжной тюрьме в Туаре и потребовал перевода в Клерво, где отбывают наказание присужденные к заточению. В случае, если мой перевод не состоится до 1-го августа, я грозил начать голодовку.

19 июля я покинул Туар, прошел через тюрьмы Сомюра, Тура и Мелэна (где я все время содержался в штрафных одиночках) и, наконец, 3 августа прибыл в Клерво.

Непрекращающаяся кампания за освобождение матросов с Черного моря причиняла немало хлопот правительству Бриана. В течение сентября, октября и ноября оно по одиночке освободило всех, кто еще оставался на общественных работах, а также осужденных матросов с «Франс» (кроме Фраккии), «Прованс» и «Туарега». Однако люди эти не были амнистированы, но просто помилованы с помощью ловкого юридического трюка. В результате, те из помилованных, которые еще не отслужили полного срока военной службы, но которые были разжалованы, т.-е. исключены из воинского звания, были отправлены дослуживать свое время в отряды разжалованных. Эти отряды или секции представляют собой ужасающую каторгу, где несчастные «освобожденные» отбывают второе наказание. Отправленные в Алжир, в Мерс-Эль-Кабир все они работали в угольных шахтах Кенатца, в невероятных условиях.

Один из них, Перрон, оставленный в Коллиуре (Верхние Пиренеи), не мог вынести мысль, что ему придется снова идти на каторгу. Однажды он воспользовался выходом на работы и попытался бежать. Караульный сержант остановил его, тогда Перрон ударил сержанта, снова попал под военный суд и был присужден к 5 годам принудительных работ.

Если бы у Бриана хватило мужества амнистировать матросов; осужденных по черноморскому делу, совершенно освободив их от службы, в место того, чтобы лицемерно подвергать их тому же наказанию, но в иной форме,—тогда подобный случай не мог бы иметь места.

Такова была амнистия Бриана, худшая, чем даже амнистия Клемансо. Правда, старая лиса освободила нескольких матросов, но только для того, чтобы отправить их на худшую каторгу. Бриан, действительно, поработал на пользу буржуазии.

### Моя кандидатура в Шароне.

Общественное мнение не было удовлетворено. Карикатурная амнистия 29 апреля не только не удовлетворила пролетариат,

но только способствовала расширению популярности матросов черноморской эскадры, и борьба продолжалась.

Воспользовавшись тем, что в Парижском муниципалитете освободилось место представителя квартала Шарон (20-го округа), коммунистическая партия решила выставить мою кандидатуру. Социалисты присоединились к этой кандидатуре. Мое имя скандализировало буржуазию, но рабочие Шарона с торжеством меня провели.

Я находился в Клерво с 13 августа. Когда я прибыл, меня встретили угрозой, а в дальнейшем, уже 16 августа, меня судили дисциплинарным судом за то, что я общался с Алькье и Шампалем, передавшими мне хлеба в день моего приезда. Меня зачислили в особую штрафную чулочную мастерскую.

С шестью повстанцами с «Вольтера», которые находились здесь с декабря 1920 года, обращались так же грубо, как и со мной. Это, однако, не мешало администрации тюрьмы пробовать «заправить нас на путь истинный». В результате таких стараний главный директор тюрьмы, который в конце августа пытался обработать меня и Валле, получил резкую отповедь в таких выражениях: «Я страдал на каторге, но если бы очутился в том же положении, я начал бы снова». Таким образом, буржуазия знала, с кем имеет дело, и это одна из причин ее дикой ненависти.

На первом же заседании парижского городского совета гласные-коммунисты выставили на моем кресле мой портрет и подняли невероятный шум, требуя моего освобождения. Социалисты их поддерживали.

Через несколько недель Бадинà был избран гласным в квартале Санте (XIV округ), несмотря на трусость социалистов, предсказывавших неминуемое поражение. Его фотография была выставлена рядом с моей в зале заседания городского совета.

Сейчас же вслед за этим по всей стране усилилась кампания за амнистию и вообще за облегчение участи матросов черноморской эскадры. В Париже участились демонстрации, и Бриан тогда сделал первую уступку общественному мнению. 22 декабря 1921 года был издан декрет, подписанный военным министром, об освобождении всех осужденных по военным делам известных категорий, вплоть до дезертирства в виду неприятеля. Из Клерво вышло до 800 осужденных, а общее число освобожденных солдат доходит до 2.000. Но правительство постаралось исключить из амнистии всех матросов, осужденных за восстание в Черном море.

11 декабря 1922 года Бриан вышел в отставку вследствие своих разногласий с Мильбераном из-за Каннской конференции. Но, уходя, старая лисица, чтобы сделать неприятность своему преемнику, представила в палату в самый день отставки законопроект об амнистии со включением в нее и черноморских матросов.

Рабочие Шарона, а затем и Санте, разбили двери тюрьмы, вырвали несколько тысяч осужденных у республиканских палачей и заставили министра-ренегата внести законопроект об амнистии: это было уже первой победой.

### Клерво.

Эта старинная государственная тюрьма находится в 12 километрах от Бар-Сюр-Об и помещается в монастыре, основанном св. Бернардом. Она окружена лесистыми холмами, вследствие чего температура меняется резко два или три раза в течение дня, и привыкнуть к такому климату трудно. На первый взгляд ничто не указывает на тюрьму: на несколько верст тянется каменная ограда, за ней огород, парк, постройки. Вид такой, точно тут живет крупный землевладелец. Но достаточно проникнуть за ограду, чтобы почувствовать себя не по себе.

Правда, там есть школа, церковь, почта, казарма, словом, отражение в малом виде современного общества,—но кругом только и видишь, что людей в голубых кепи, с испытующим взглядом. «Штатские» там ходят быстро, поспешным шагом, в детских играх сквозит беспокойство. Часто проходит, шатаясь, женщина в слезах.

Когда проникаешь за вторую ограду, чувствуешь тяжелую атмосферу решеток и цепей. Здесь не кричат, не разговаривают,—царит полное молчание. Проходят каторжники с бритыми лицами, в грубых деревянных башмаках и украдкой бросают на посетителя любопытные и завистливые взгляды.

Надзиратели стоят на постах с ружьями в руках (с тех пор, как я прибыл, больше нет караульных солдат, они все слишком стали подозрительными по симпатиям к заключенным).

Наконец, за третьей оградой расположена старая тюрьма. Как общее правило, в Клерво сажают преступников трех категорий: политических, в специальном отделении, общеуголовных и присужденных к «заточению» (наказание за воинские преступления). На самом же деле две последние категории смешаны: за исключением того, что солдаты, изгнанные из армии, имеют право разговаривать друг с другом и свободно гулять по часу в ден. в особом дворе, в остальном они подчиняются тому же режиму, что и уголовные. Это незаконно, но буржуазии ничего не стоит нарушить свой собственный закон.

В 1920 году в Клерво не было ни одного политического. Зато там было до 1.600 осужденных по воинским делам и около сотни уголовных. В декабре прибыли шестеро матросов с «Вольтера»: Алькье, Шампаль, Дюлу, Роллан, Воттеро и Алькье. В тюрьме они застали троих солдат, осужденных за мятеж в России, которым каторжные работы были заменены заточением.

Матросов встретили грубо и отправили в самые неприятные по роду работ мастерские.

13 августа в Клерво прибыл и я, истощенный голодом во время бесконечного, почти двадцатидневного переезда. Едва я переступил порог, как главный смотритель и директор сказали мне, что будут беспощадно преследовать всякую попытку общаться с внешним миром или с товарищами по заключению внутри тюрьмы. Это иредупреждение, впрочем, не помешало мне немедленно завязать тайком сношения с товарищами.

2 октября 1921 года, когда стало известно о моем избрании городским гласным Парижа, директор пожалел о том, что назначил меня в штрафную мастерскую, и дважды предложил мне свою протекцию, от чего я резко отказался.

17 октября тюрьму посетили парижские гласные, Гаршери и Селлье. Их посещение, с одной стороны, дало мне возможность снова войти в курс общественной жизни, от которой я был отрезан вот уже 30 месяцев, а с другой—позволило мне дать заключенным определенные надежды. И, действительно, уже 22 декабря в результате выборов в Шароне и Санте Бриан освободил от наказания многих осужденных по воинским делам. В январе из Клерво было освобождено около 900 человек. Кроме того газеты сообщали, что под действие нового закона об амнистии (11 января 1922 г.) подойдут и черноморские матросы. Последние в течение многих месяцев надеялись, жили в ужасной агонии ожидания близкого и возможного освобождения—тщетная надежда! Всемогущая военная каста управляла французским правительством и противилась освобождению, вопреки формальному обещанию Пуанкаре провести через парламент внесенный законопроект об амнистии.

Мы переживали тяжелые минуты. Надзиратели клервосской тюрьмы были отсталыми среди всего корпуса тюремной стражи. Сами сыновья или братья надзирателей, они жили внутри тюремной ограды и не имели никакого общения ни с рабочими ни с крестьянами. В своей умственной ограниченности они смотрели на всех заключенных, как на собак. Разумеется, арестанты-матросы не оставались в долгу и отстаивали те жалкие права, которые им предоставлял тюремный устав.

Директор тюрьмы, ярый националист, по имени Катри, был безжалостен, и, наказывая заключенных, имел еще наглость издеваться над своими жертвами. Так, например, Воттеро выразил протест против недостаточности своего пайка и получил за это 30 дней карцера, откуда вышел худым, как скелет. Алькье был среди зимы посажен в карцер без срока за то, что дал пощечину шпику. При этом директор позволил себе насмеяться над ним, говоря: «Слава богу, мы еще сильнее вас». Алькье на это хорошо ответил. «Вы не всегда будете сильнее»,—сказал он.

Преодолевая невероятные усилия матросы сорганизовались и с тех пор, как меня назначили кочегаром в котельное отделение, тайные сношения были установлены по всей тюрьме. Благо-

даря взаимной поддержке и освещению всех событий как внутреннего тюремного быта, так и жизни во-вне, мы переносили свои страдания почти весело.

### Пуанкаре выбрасывает балласт.

В своей министерской декларации Пуанкаре заявил палате, что принимает на себя законопроект об амнистии, внесенный Брианом в парламент 11 января, законопроект, в который старая лиса французской политики постаралась включить и мятежников Черного моря, т.-е. тех, кого он сам не желал амнистировать или кого отправлял по освобождению из тюрем в рабочие команды.

В марте 1922 года я и Бадинъ были опять сторжеством избранны в Парижский городской совет от кварталов Шарон и Санте.

Отвечая по этому поводу на запрос в палате, Пуанкаре, коснувшись своего обещания провести амнистию, сказал: «Шарон еще не вся Франция» и прибавил, что одна ласточка весны не делает, «как одна сова не делает ночи». Вызывающие слова Пуанкаре пролетариат не мог оставить без ответа.

14 марта на частичных муниципальных выборах в департаментах, Алькье был избран муниципальным советником от Гиера, Роллан—от Гавра, Валлет—советником от округа Вирзон, хотя социалисты выставили против него своего кандидата. Наконец, я был дважды избран в моем департаменте Восточных Пиринеев: в Перпиньяне и в горном кантоне Пра-де-Молло. Последние выборы были особенно удачны—моя кандидатура была решена в пятницу к вечеру небольшой группой из троих активных работников. Они тотчас же пустились через горы в намеченный кантон, а в воскресенье я был уже избран.

В Тулоне социалисты осмелились выставить своего кандидата против Бадинъ, а в Сейн Сюр Мер они проделали то же самое и со мной,—благодаря такой тактике, мы оба провалились.

Но под'ем был необычайным. Муниципальные выборы явно принимали революционный характер и по вечерам, когда объявляли результаты, никогда еще не собиралось таких возбужденных и восторженных масс. Перед этим могучим порывом Пуанкаре уступил, и 10 июля палата депутатов приняла законопроект о предоставлении правительству права амнистии. Сенат немедленно ратифицировал законопроект. Палата сделала специальную оговорку о том, что и я подхожу под амнистию. Тогда вмешалось военно-морское командование и многие адмиралы, в том числе вице-адмирал Лебон, грозили отставкой, если меня выпустят на свободу.

Правительство уступило давлению и неожиданно 28 июля официально заявило в своем сообщении, что амнистия на меня распространена не будет, между тем как Бадинъ, осужденный по такому же делу, да еще обвинявшийся сверх того в дезертир-

стве, был освобожден после 23 месяцев тюрьмы (я в это время сидел уже 39 месяцев). Официальные органы правительства расхваливали Бадинà, а меня смешивали с грязью.

В Клерво известие обо мне произвело ошеломляющее впечатление. В тот самый день, как пришло известие, меня посадили в одиночку за то, что я вступился за одного из товарищей, к которому придирался чересчур рьяный надзиратель. Директор со свойственной ему низостью принялся лицемерно уверять меня, что не наказывает меня, а просто продержит некоторое время в одиночестве. С беспримерной гнусностью он вздумал меня помучить и утверждал, будто бы я сам просился в одиночку. Но тут он наткнулся на энергичное сопротивление с моей стороны: я потребовал, чтобы меня предали дисциплинарному суду. Со своей стороны матрос Валле из солидарности со мной остановил моторы в своей мастерской и заявил, что он, Алькье и Шампаль разнесут отделение одиночек, если им не будет разрешено увидеться со мной перед отъездом. Директор уступил перед такой угрозой и на другой день меня опять перевели в мастерскую, где я работал.

Последние осужденные за восстание были освобождены 2 августа: Фраккия с «Франс»—из Туарской тюрьмы, Бадинà—из Нима и, наконец, шесть матросов с «Вольтера»—из Клерво.

В заключении остались после этого: Канон, матрос с «Франс», ожидавший отправки на каторгу за попытку к побегу из рабочей команды Коллиура; я—в Клерво, Лезюер в Нимском центре (про него мы тогда ничего не знали), Рикрос и Веронико в Канадзе и Фонс в Мерс-Эль-Кебуре, откуда они вышли только в октябре и в ноябре.

Трое из освобожденных матросов, Валле, Алькье и Роллан, были отправлены в Шербург дослуживать свое время. Там с ними обращались исключительно плохо, в особенности офицеры: можно сказать, что они вышли из тюрьмы только для того, чтобы в нее вернуться немного времени спустя. Роллан был даже отправлен в дисциплинарный батальон сначала в Олерон, затем в Сен-Флорен. Другие же освобожденные, направленные в Рошфор, оказались в лучших условиях: Бадина пробыл там год, а Фраккия—два.

### Пролетарий открывает тюрьмы.

Таким образом правительство, несмотря на формальное обещание, продолжало держать меня в заключении. Неслыханная жестокость такой меры на этот раз отзывалась преимущественно на моей старой матери и на моих братьях. Однако правительство не могло сломить моей энергии. Через два дня после этого мне удалось устроить демонстрацию против войны под лозунгом «Долой войну, да здравствует Революция», а когда Гаршери, обеспокоенный моим состоянием, приехал, чтобы меня под-

бодрить, я изложил ему свои соображения относительно причин, побудивших правительство отказать мне в амнистии: оппозиция со стороны адмиралов моему освобождению обратила внимание на отобранные у меня полицией 12 октября бумаги, в том числе воззвание о присоединении к III Интернационалу. (Месяца через четыре мы убедились, что мои предположения были правильны.) «Нажимайте энергично—закончил я,—не беспокойтесь о том, что со мной сделают: я выдержу столько, сколько будет нужно». И я сдержал свое слово.

Кампания за амнистию после этого свидания возобновилась и постепенно усилилась. Уже 30 июля парижские рабочие демонстрировали в 20-ом округе, а в Пре Сен Жерве Гаршери устроил митинг под самыми стенами Клерво: даже надзиратели вынесли резолюцию против правительства (за это 12 человек среди них понесли наказания).

В сентябре коммунистическая федерация департамента Об (где находится Клерво) решила устроить около тюрьмы грандиозный митинг. По этому поводу охрана тюрьмы была усилена восемьюстами солдат и жандармов, в самый же день, когда был назначен митинг (13 сентября), все дороги вокруг Клерво на 8 километров были оцеплены и руководство военными действиями поручено майору-артиллеристу. Само собой разумеется, что митинг не мог состояться, так как безоружные рабочие не могли вступить в открытый бой с регулярными войсками.

Директор тюрьмы воспользовался этими обстоятельствами, чтобы подвергнуть меня особому надзору. Со 2 сентября меня сторожили, не спуская глаз. При мне находился специальный караульный, а по ночам в общие спальни часто являлись дозоры, чтобы подслушать, что я говорю. По уголовному кодексу только присужденные к смертной казни подвергаются постоянному наблюдению, так как ожидание казни никогда не бывает очень продолжительным. Я же выносил непрерывное наблюдение в течение одиннадцати месяцев и чрезвычайно страдал от сознания, что за каждым моим жестом, за каждым взглядом шпионят. И все-таки мне удавалось обманывать стражу и сообщаться не только с товарищами по заключению, но и с волей.

Ультра-националист, управлявший тюрьмой, придумал еще мучить меня письмами. Как и всякий заключенный, я мог получать письма от членов своей семьи. Директор, под тем предлогом, будто бы письма эти содержали политические намеки, задерживал их на 2—3 недели, не предупреждая меня (что он обязан был делать по уставу) и предоставляя мне терзаться жестоким беспокойством о судьбе моих близких. Из всех этих ухищрений начальства ничего не вышло: я продолжал работу подпольной пропаганды и организации заключенных.

Начиная с сентября, кампания за амнистию усилилась под давлением рабочих, не смотря на клеветнические выходки буржуазных газет. Я был последовательно избран в Шароне, Санте

(парижские кварталы), затем в Перпиньяне, Пра-де-Молло и других местах.

В октябре вечерняя коммунистическая газета «Интернационал» начала печатать в фельетоне роман о событиях в Черном море. Приходится отметить, что роман этот, продолжавший появляться в «Юманите» тоже в виде фельетонов, кишит ошибками и неточностями. Автор его, Мерик, имел даже бурное объяснение с Валле за то, что хотел изобразить дело «Вольтера» в той же снотворной форме романа-фельетона, как и события на «Протэ». В Черноморском деле нет никаких элементов романа. Революционная борьба не может быть предметом романтической интриги, а только объектом материалистического изучения.

Частичное разложение верхов коммунистической партии в эпоху интриги Фроссара и его сторонников привело к тому, что в первые месяцы 1925 года товарищи, занимавшие в партии ответственные посты и занятые реорганизацией партии, не имели возможности развить политическую агитацию так, как им хотелось бы. Однако кампания уже в марте 1923 года возобновилась в связи с муниципальными выборами в кварталах Шарон и Санте, где я был переизбран. Мало-по-малу кампания развилась: не проходило кантональных или муниципальных выборов без того, чтобы мое имя не фигурировало в списке кандидатов. Понемногу черноморское дело стало в центре внимания всей Франции. Профессиональные политики приходили в бешенство от того, что кампания за амнистию мешала их избирательным аппетитам. Демонстрации учащались и принимали невиданные размеры. В мае месяце красный флаг был вывешен над парижской городской думой.

Выборы происходили в 11 округах парижских пригородов. Во всех одиннадцати округах я был выставлен кандидатом, а Гранжуан, известный революционный рисовальщик, выполнил плакат, который распространился по всей Франции и произвел большое впечатление. Успех не обманул ожиданий: при первой же баллотировке я был выбран в одиннадцати округах и одновременно переизбран в кантоне Солема (Северный департамент).

В конце мая я получил письмо от двух выдающихся представителей масонства, извещающее, что они получили разрешение посетить меня. Как обычно, письмо было мне передано в общей столовой. Я сейчас же призвал товарищей в свидетели своего ответа и потребовал, чтобы меня немедленно провели к главному надзирателю, чтобы заявить, чтобы ко мне никого не допускали, за исключением лиц, имеющих мандаты от центрального комитета компартии. Я думал, что визит масонов был только ловушкой, которую мне расставило правительство, вынужденное идти на уступки.

Через несколько дней Гаршери, член центрального комитета и единственный человек, которому помимо моей семьи было раз-

решено посещать меня, прибыл в тюрьму, чтобы дать мне отчет о положении моего дела. Я рассказал ему о письме массонов и моем отказе принять их. Тогда Гаршери вынул письмо одного молодого парижского рабочего, который писал, что он из надежного источника знал о намерении правительства предпринять некоторые шаги с целью прекратить агитацию. А именно правительство собиралось предложить мне немедленное освобождение при условии, что я дам слово никогда не заниматься политикой. Молодой автор письма в заключение выражал опасение, как бы «Марти, неосведомленный о размахе движения вне стен тюрьмы, не дал бы себя обмануть».

Итак мои предположения оправдались и я был прав, отказываясь принять неизвестных посетителей, цель которых заключалась в том, чтобы, воспользовавшись неосведомленностью заключенного, скомпрометировать его политически. В правительственных кругах были поражены и раздражены моим письменным отказом принять «парламентеров». Буржуазия была прижата к стене, но не уступала.

Коммунистическая партия решила добиться моего освобождения во что бы то ни стало.

Через несколько дней после этого, 8 июня, муниципальный совет города Парижа устроил прием вновь избранным гласным Сенского департамента. По этому случаю были приглашены высокопоставленные государственные чиновники, генералы и должностные лица. Компартия отпечатала великолепно исполненную программу праздника и массой раздавала ее в салонах. Но тот, кто развешивал программу, видел рисунок Клервосской тюрьмы, мой портрет и всевозможные лозунги.

Когда же министр внутренних дел, Момури, выступил с речью, коммунисты встретили его издевательствами и в течение двух часов в зале стоял неистовый шум. В конце концов пришлось вызвать полицию, которая удалила из помещения Городской Думы всех гласных-коммунистов. Получился настоящий скандал.

Положение становилось невозможным. Тем не менее, правительство Пуанкаре не желало идти на уступки. Тогда компартия выставила мою кандидатуру в парламент от округа Нижней Сены. Власти совершенно незаконно отказались внести меня в список кандидатов и поэтому избирательная кампания велась на имя моего самого младшего брата. Число полученных голосов было совершенно неожиданным.

В это время я лежал в тюремной больнице, страдая от жестоких припадков ревматизма, приковавшего меня на две недели к постели,—результат ночей, проведенных мною в самой холодной спальне тюрьмы, куда директор поместил меня нарочно, тогда как другие, более сухие и здоровые, помещения в других этажах были свободны.

Через несколько дней компартия выставила мою кандидатуру в департамент Сены и Уазы. И там префектура отказалась внести мое имя в списки, и кампания велась опять за моего самого младшего брата.

Возбуждение было неслыханным: никогда коммунисты не могли надеяться на такое количество голосов, какое я получил, несмотря на то, что лидеры социалистов вели кампанию против меня (рядовые социалисты, впрочем, не слушались своих вождей).

Правительство вынуждено было уступить, но сделало вид, что освобождает меня ради моей матери, которая была больна от огорчения за меня и от перенесенных лишений и дни которой были сочтены.

16 июля меня выпустили из Клервосской тюрьмы условно, а 19-го бы подписан указ о моей амнистии.

Мое прибытие в Перпиньян навсегда останется в памяти рабочих: никогда еще не было видно столько возбуждения, слез и восторга среди суровых рабочих этой местности.

В тюрьме оставались Канон и Лезюер; тогда место их заключения было неизвестно, а про Лезюера вообще ничего не знали. Первый раз я услышал про Канона только в октябре 1923 года, а про Лезюера ещё позже.

Кампания за их освобождение началась, как только мы узнали про них, но массы, взбудораженные 6 месяцев тому назад, уже утомились и в этом заключается причина того, что Лезюер до настоящего времени все еще сидит в тюрьме.

В сентябре 1923 года мы с удивлением узнали, что какой-то французский матрос с Черноморской эскадры привезен под конвоем из Риги в Лориэн (порт на южном побережье Бретании). Матрос этот явился с повинной к французскому консулу в Риге.

Он оказался Давуаном, принимавшим участие в восстании 28 апреля 1919 года на пловучем маяке около Одессы. Когда партия узнала, в чем дело, Давуан уже имел адвоката, радикала социалиста Лаббе. Давуан вел себя на военном суде с большим достоинством, был очень спокоен и не брал примера с тех, которые подобно ему возвращались во Францию и надеялись заслужить снисхождение тем, что чернили Советскую Республику. Процесс после показания Давуана едва ли имел бы в дальнейшем какой-нибудь интерес, если бы защитник не попытался использовать дело для отступлений политического характера, при помощи которых можно было выторговать для подсудимого свободу от буржуазной тюрьмы. Прося у военного суда снисхождения к ошибкам подсудимого, Лаббе вместе с тем обрушился на Советскую Республику и на меня, указывая, что я после амнистии и освобождения вместо того, чтобы быть благодарным правительству, выступал против него и вел кампанию за всеобщую амнистию.

Давуан был приговорен к 10 годам заточения, и компартия готовилась открыть по всей стране кампанию в его пользу. Но

как только его кандидатура была выставлена в Гиере, где он должен был заменить в списке кандидатов меня, его бывший адвокат Лаббе опубликовал в печати письмо за его подписью. В письме этом, которого Давуан, быть может, никогда и не видел, говорилось о том, что осужденный признает свою вину и хочет заслужить себе прощение. В результате федерация сняла его кандидатуру.

Через два месяца Давуан был амнистирован и исчез: куда он делся, так и осталось неизвестным. Он мог бы также скоро и с большей славой выйти из тюрьмы под давлением пролетариата, если бы его не обманул политический честолюбец.

Во всяком случае остается неизменным тот факт, что освобождение матросов Черноморской эскадры и мое освобождение было делом французского пролетариата и только его одного.

А. МАРТИ.

# Пять лет борьбы.

(1920—1925.)

М: Бразинский.

(К пятилетию Красного Интернационала Профсоюзов.)

1925 год, завершающий пятилетие существования Красного Интернационала Профсоюзов (Профинтерна) является знаменательным годом не только в качестве простой юбилейной даты. Это—прежде всего—год великих достижений, добытых ценою неутомимой, настойчивой борьбы и чрезвычайного напряжения воли, год, который, несомненно, отметит собою эпоху в истории всего мирового профессионального движения.

Два важнейших из этих достижений новейшего времени—это те первые практические результаты кампании, которую Профинтерн (вместе с Коминтерном) с начала своего возникновения проводил в интересах единства профессионального движения и которая ныне привела уже к *сближению между основными силами международного организованного пролетариата—советскими профсоюзами и английскими трэд-юнионами,—закреплению образованием англо-советского совещательного Комитета единства.*

Второе достижение выразилось в принятии на всекитайском съезде профсоюзов, состоявшемся в Кантоне 1-го мая этого года и собравшем 285 делегатов от 450 тысяч организованных китайских рабочих, постановления о присоединении этой организованной массы китайского пролетариата к Красному Интернационалу Профсоюзов. Факт пополнения мировой революционной армии «новым боевым отрядом, занимающим важнейший стратегический пункт в борьбе против международного империализма»<sup>1)</sup>, приобретает особую важность в свете разгорающихся ныне в великой Китайской Республике событий, чреватых, несомненно, последствиями всемирно-исторического значения.

Постараемся же, поскольку эт возможно в пределах небольшой журнальной статьи, проследить путь, пройденный Профинтерном за пять лет и приведший его к столь значительным результатам.

«Международный Совет Профессиональных и Производственных Союзов» (Межсовпроф), как назывался вначале Красный Интернационал Профсоюзов,

<sup>1)</sup> Из «Обращения» Исполбюро Профинтерна к китайским профсоюзам, «Красный Интернационал Профсоюзов» № 5, 1925 г. стр. 123.

зародился в середине июля 1920 г., т.-е. в период глубокого кризиса, наступившего в Европе в результате небывалых экономических и политических потрясений, вызванных империалистской войной и, в не меньшей, может быть, степени, так называемым Версальским миром. Надежды на восстановление хозяйственного благополучия и на укрепление и дальнейшее развитие вынужденных пролетариатом у буржуазии уступок, скоро сменились тяжелым разочарованием. Смерть и опустошение, царившие в Европе в течение четырех лет империалистской бойни, распатали все основы материального существования как побежденных, так и победивших стран Европы. Нищета, безработица, жизнь на грани голода стали делом широких трудящихся масс, тогда как разбогатевшие на народных бедствиях промышленники, военные поставщики, спекулянты и прочие мародеры мирного и военного времени с наглым бесстыдством предавались необузданным излишествам и бесшабашному разврату.

Обманутые и преданные своими вождами, рабочие массы начинали на опыте суровой действительности убеждаться, что в создавшейся после войны обстановке обостряющихся классовых противоречий тяжелая борьба со старыми классовыми врагами за элементарные условия человеческого существования становилась неминуемой. В поисках защиты от начинавшегося сплошного наступления со стороны капиталистов массы устремились в свои старые профессиональные союзы. Значительно опустошенные частыми военными мобилизациями, которые гнали рабочих в качестве пушечного мяса на поля сражений, профессиональные союзы после войны начали необычайно быстро расти и сильно увеличились численно по сравнению с довоенным временем. Так, по официальным данным числилось членов профсоюзов: в Великобритании в 1913 г.—4.189.000, в 1919 г.—8.801.000; в Германии за те же годы 3 миллиона и 9 миллионов; во Франции в 1913 г.—1.000.000, в 1920—2.500.000; в Бельгии в 1913 г.—126.000, в 1920—718.000 и т. д. В итоге оказалось, что в то время как до войны во всем мире организованных рабочих было 10.000.000, после войны их насчитывалось уже около 50 миллионов<sup>1)</sup>.

Следует при этом отметить одну весьма важную особенность этого стихийного движения. В своем широком потоке оно увлекло в союзы не только слои квалифицированных рабочих, которые обыкновенно доминировали в старых профорганизациях и налагали на них свой отпечаток умеренности и осторожности, но и толстые пласты простых, рядовых рабочих. Это обстоятельство отразилось не только на численности, но и на качественном составе профсоюзов. Более импульсивная, менее сдержанная рядовая рабочая масса, влившаяся в старые профсоюзы, внесла с собою новую освежающую струю, новые настроения, не всегда уживавшиеся с духом «делового сотрудничества», с господствовавшими в них до сих пор тенденциями к мирному, полюбовному разрешению классовых конфликтов. Внутри союзов стали группироваться те революционные меньшинства, которые в некоторых странах начинали уже играть значительную роль.

Между тем, сильное оживление, наступившее в профдвижении, не выходило за пределы отдельных государств; организованные рабочие каждой отдель-

---

<sup>1)</sup> А. Лозовский: «Мировое профессиональное движение». Москва, 1925 г. стр. 29.

ной страны как-будто мало интересовались тем, что делалось за их национальными границами, и мало еще заботились о восстановлении взаимных отношений и связей между пролетарскими организациями различных стран. Прежние довоенные международные организации, претендовавшие на роль международных рабочих объединительных центров—Международный рабочий секретариат и жалкие производственные интернационалы—прекратили во время войны свое существование. Кампания за войну до победного конца, которую социал-демократы обеих воюющих групп вели среди рабочих не менее усердно, чем империалисты, призывая их к взаимному истреблению, создавала обстановку, исключавшую какую бы то ни было мысль о восстановлении международного центра рабочего движения. Неоднократные попытки создать международные профсоюзные конференции, делавшиеся во время войны социалистами нейтральных стран, не имели успеха. Лишь группу левых, революционных социалистов—противников войны, лишь тех немногих борцов, которые, не уставая, клеймили предательство вождей II Интернационала и остались верны марксизму и красному знамени революционного социализма,—лишь их одним глубоко и искренне волновала мысль о восстановлении подлинного международного объединения рабочих. Выступление этих левых групп на конференциях в Циммервальде и Кинтале было первым проблеском возрождающейся идеи международной пролетарской солидарности, разредившим кровавый туман военно-патриотического безумия, охватившего массы в первые годы войны. Они одни, несмотря ни на какие препятствия, неустанно призывали к борьбе против войны, против классового сотрудничества, к пролетарскому единству, к низвержению капитализма. И эти призывы не проходили бесследно: по мере приближения к окончанию войны массы все легче поддавали под влияние этой революционной пропаганды.

Наконец, широчайшую базу для собирания революционных сил левые группировки обрели после Октябрьской революции с ее вскоре оформившимся, крепко-сплоченным профессиональным движением, ставшим самым могучим фактором в деле объединения разрозненных сил мирового пролетариата. Уже на I Всероссийском съезде профессиональных союзов 3—9 января 1918 г. признано было необходимым восстановление Интернационала профорганизаций. Но, отрезанные гражданской войной и блокадой от внешнего мира, русские профсоюзы долго не в состоянии были приступить к осуществлению своей заветной мысли и могли это сделать только год спустя, после основания Коммунистического Интернационала, давшего, бесспорно могучий толчок движению в пользу восстановления международного профессионального объединения, которое своим происхождением главным образом и было обязано инициативе Коминтерна.

Учитывая ближайшие последствия всех этих крупных событий и революционных идеологических влияний, социал-патриоты поторопились взять на себя инициативу воссоздания Интернационала, введя его в рамки строго, легального развития и противопоставив его революционным тенденциям, обнаружившимся под влиянием энергичной пропаганды левых группировок и коммунистов.

Вскоре после подписания мира, в июле 1919 г., состоялся съезд профессиональных союзов в Амстердаме под руководством таких испытанных слуг капитала как Легин, Удегест, Жюо, Гомперс и др. Однако, не дух междуна-

родной солидарности реял над этим международным конгрессом, организованным социал-патриотами. «При обсуждении почти каждого пункта получались, — по словам официального отчета, — противоречия, которые в течение долгих лет искусственно создавались во время войны, и эти противоречия очень остро выступали наружу. Почти каждый день приводил конгресс к новым столкновениям, прежде чем удалось достигнуть «единого голосования». Этот первый конгресс, на котором было положено основание «Международной Федерации Профсоюзов» (Амстердамский Интернационал), производил, — говорит тов. Лозовский в своей книге<sup>1)</sup>, из которой мы заимствовали вышеприведенную цитату, — впечатление собрания сорвавшихся с цепи националистов, из которых каждый стремился доказать, что его отечество было право в этой войне.

Ясно, чего можно было ожидать от «Интернационала» при таком многообещающем начале и при таком отборном составе руководителей его. Последовательное проведение прежней политики классового сотрудничества и систематическое удушение нарастающей социальной революции — вот к чему сводилась вся политика Амстердамского Интернационала, которую он систематически проводил с первых же шагов своей деятельности.

Очевидно, нарожение *такого* Интернационала не только не могло склонить сторонников революционной классовой борьбы к отказу от мысли создать действительно классовый орган единства мирового пролетариата, а, наоборот, должно было удвоить энергию их попыток к скорейшему проведению ее в жизнь, ибо с появлением Амстердамского Интернационала перед ними, помимо основной и прямой их задачи — собирания пролетарских сил в единую боевую международную рабочую армию под знаменем революционного социализма, стала и другая задача — борьба против нового органа идеологической смуты и контрреволюции. Поэтому они воспользовались первым благоприятным случаем, чтобы приступить к осуществлению своего плана.

Этот случай представился в середине июня 1920 г. В это время в Москве находились представители разных рабочих партийных и профессиональных организаций Англии, Франции, Италии, Югославии, Болгарии, Сев. Америки, Голландии и других стран. Тогда же, по предложению Исполкома Коминтерна, было устроено совещание с иностранными товарищами по некоторым коренным вопросам международного профессионального движения. Такое совещание действительно состоялось 16 июня 1920 г., и хотя на нем и обнаружилось разногласия между русскими и иностранными представителями профсоюзов по целому ряду крупнейших вопросов, тем не менее основной вопрос необходимости создания революционного центра мирового профдвижения принципиально был признан всеми участниками совещания. После продолжительных прений Роберт Вильямс от своего имени и от имени Перселя огласил следующую декларацию:

«Настоящим неофициальное совещание революционных руководителей боевого профессионального движения Великобритании, России, Италии, признавая *неспособность существующего Международного Об'единения Профсоюзов руководить классовой борьбой и низвергнуть международную буржуазию путем диктатуры пролетариата*, постановляет созвать более полное и представительное совещание революционных работников союзов для учреждения

<sup>1)</sup> А. Лозовский. Мировое профессиональное движение, стр. 40—41.

истипного профессионального *Интернационала, свободного от какой бы то ни было связи с капиталистической Лигой Наций* и от так называемых лидеров рабочего движения, действовавших в роли *социал-патриотов и шовинистов* в мировой войне и продолжающих вести ту же политику в настоящее время. Совещание вместе с тем *осуждает* всякие *попытки увода от существующих союзов, ведущий классовую борьбу*, и предлагает всем, стоящим на революционно-классовой точке зрения, *упорно и систематически работать в существующих организациях на пользу Коммунистического Интернационала, пользуясь всеми средствами, какими только располагает рабочий класс»* <sup>1)</sup>.

Следующие совещания представителей России, Италии, Испании, Франции, Болгарии, Югославии и Грузии происходили уже без англичан, к этому времени уже уехавших из Москвы, и закончились принятием декларации 15 июля 1920 г., которою и было положено основание Международному Совету профессиональных союзов и которая была подписана А. Лозовским (Россия), М. Д'Аррагона (Италия), А. Пестанья (Испания), А. Росмером (Франция), Н. Шаблиным (Болгария), Микадзе (Грузия), Милкичем (Югославия).

Положение пролетариев во всех странах,—говорится, между прочим, в этой декларации,—*требует более энергичной классовой борьбы за окончательное уничтожение капиталистической эксплуатации и за установление коммунистического строя*. Такая борьба должна вестись в международном масштабе *в самом тесном единении всех работников, об'единяемых по производственным группировкам; рабочий класс должен об'единиться в мощную революционную ассоциацию, работающую рука об руку с политической организацией интернационала коммунистического пролетариата* для окончательной победы социалистической революции и установления Всемирной Республики Советов. Для преодоления сопротивления буржуазии и консолидирования завоеваний пролетарской власти необходимо *установить, в качестве переходного средства, диктатуру пролетариата*.

Исходя из этих положений, совещание постановляет:

1) *осудить тактику увода из существующих профессиональных союзов революционных элементов;*

2) *вести повсюду в профсоюзах пропаганду коммунизма и создавать в них революционные ячейки;*

3) *организовать международный комитет для перестройки в этом смысле профессионального движения, который будет функционировать в качестве временного Международного Совета профессиональных союзов и действует в идейном и организационном согласии с Исполкомом III Интернационала* <sup>2)</sup>.

Для более точного представления о задачах и целях, которые ставил перед собою новый революционный центр мирового профдвижения, мы сделаем еще некоторое извлечение из его временного Устава.

Устав ставит перед Красным Профинтерном следующие основные цели:

1) *широкая пропаганда классовой борьбы, социальной революции, диктатуры пролетариата во имя насильственного низвержения капитализма;*

<sup>1)</sup> Отчет Международного Совета Профессиональных Союзов, М. 1921, стр. 125, а также Стенографический отчет I-го Международного Конгресса революционных профсоюзов, М. 1921.

<sup>2)</sup> Отчет Мажорфсоюза 1920/21 г., стр. 20—22 и Стенографический Отчет I-го Конгресса.

2) борьба против язвы соглашательства, против иллюзий мирного перехода от капитализма к социализму;

3) решительная борьба против Международного Бюро Труда при Лиге Наций и против программы и тактики Амстердамского Интернационала <sup>1)</sup>.

Для осуществления поставленных себе целей Межсовпроф стремился собрать под свое революционное знамя профессиональные организации, извергшиеся в своих реформистских вождей, поведение которых представляло сплошную цепь измен рабочему классу. В такое время, когда капиталисты начинают сплошным строем переходить в наступление, нужны иные вожди, готовые организовать рабочий класс и вести в решительную контр-атаку. «Теперь, как никогда,—гласит обращение Межсовпрофа к профессиональным союзам всех стран,—класс стоит против класса». «Буржуазия имеет свой штаб в лице Лиги Наций, она имеет в руках весь колоссальный аппарат современных капиталистических государств». Этому штабу буржуазии будет противостоять на ряду с Коминтерном «новый генеральный штаб революционного профдвижения, объединяющий уже около 10 миллионов членов» <sup>2)</sup>.

Остановимся, наконец, еще на одном документе, отразившем в себе ту особенность в идеологической и тактической платформе Красного Профинтерна, которую он резко отличается от Амстердамского Интернационала. В этом документе—специальном обращении к рабочим Индии—Межсовпроф подчеркивает свой живейший интерес к факту пробуждения трудящихся масс поработенных стран Востока—и особенно Индии, и заявляет, что «Красный Интернационал Профсоюзов имеет целью *организовать рабочий класс всего мира на основах его классовых интересов*». «Рабочий класс не имеет отечества». «Рабочие всех стран должны объединиться для свержения господствующих классов». Обращение заканчивается горячим призывом к рабочим Индии быть готовыми «к великой классовой войне, которая вспыхнет во всем мире», и зовет их в ряды Красного Интернационала Профсоюзов <sup>3)</sup>.

При внимательном чтении приведенных здесь документов (особенно подчеркнутых нами строк) легко заметить, что в них уже довольно отчетливо намечены те основные линии в программе и тактике будущего «Красного Интернационала Профсоюзов», которые позднее были теоретически развиты и углублены на последующих съездах Профинтерна и конференциях его руководящих органов и практически оправданы в процессе боевой деятельности Профинтерна, все шире развертывавшейся из года в год на протяжении истекших пяти лет борьбы. Эти основные линии: революционная классовая борьба с целью низвержения господства международной буржуазии путем пролетарской диктатуры; решительный отказ от всякого классового сотрудничества с организациями, патронируемыми капиталом; упорная работа в существующих пролетарских организациях для завоевания масс на сторону Коммунистического Интернационала; широкое объединение мирового пролетариата не только европейских стран (в пределах которых замыкается Амстердамский Интернационал), но и стран внеевропейских (Восток и колонии); совместная согласованная работа с главным штабом мировой революции—с Коммунистическим Интернационалом.

<sup>1)</sup> Отчет Межсовпрофа, стр. 126.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 134—137.

<sup>3)</sup> Отчет Межсовпрофа, стр. 182—183.

Таким образом, уже в первых декларативных выступлениях новой международной пролетарской организации с достаточной ясностью выявлен общий характер «нового генерального штаба» революционного профдвижения и определены его главнейшие цели и методы действия.

Капиталисты всех стран и их амстердамские прислужники не могли не видеть, что рождение нового центра международного профдвижения сигнализирует о серьезной для них опасности, и поэтому они сразу же заняли по отношению к молодой организации самую непримиримую позицию и обрушились с самыми суровыми репрессиями на всех, кого они заподозревали в симпатиях к нему.

Однако, несмотря на огромные затруднения, с которыми Межсовпроф столкнулся с первых же моментов своей работы, он за короткое время успел завоевать себе широкую популярность и объединить вокруг себя многочисленные профессиональные организации, целиком или частично примкнувшие к нему. Уже в самом начале своего существования общее число его сторонников исчислялось более, чем в 12 миллионов рабочих почти трех десятков стран.

Очевидно, Межсовпроф пришелся ко времени. Он явился организующим центром для тех все разрастающихся меньшинств, которые начинали выкристаллизовываться и оформляться внутри старых профсоюзных организаций и уже не скрывали своего недовольства антиклассовой, соглашательской политикой идеологически разложившейся и политически обанкротившейся профсоюзной бюрократии. С каждым днем на личном опыте убеждались эти меньшинства в полной бесплодности реформистской тактики и с каждым днем ширилась пропасть между этой, более сознательной, частью международного пролетариата и их старыми реформистскими вождями. Здоровое классовое чутье толкало их на поиски новых путей, новых способов борьбы, которые соответствовали бы более сложной обстановке, создавшейся после войны. Навстречу этой-то назревшей потребности, этим поискам новых путей и пошел новый революционный центр международного профдвижения.

Но, как мы сказали, Межсовпроф только наметил основные линии новой программы и тактики, которые предстояло подробнее разработать и углубить в процессе дальнейшей работы. Эта чрезвычайно важная задача выпала на долю I Учредительного Конгресса Профинтерна, который состоялся в Москве 3—9 июля 1921 г.

Инициаторы и организаторы съезда в своем обращении к «Рабочим организациям всех стран», предлагающем им прислать на конгресс стойких и преданных революции делегатов, заявляли, что этот конгресс должен дать первый крепкий фундамент своей международной организации—Красному Интернационалу профессиональных и производственных союзов. Он подведет итог опыту прошлого движения профсоюзов и составит мощный и сплоченный фронт для решительного, окончательного боя с буржуазией и теми организациями, которые до сих пор являются поддержкой господства капитализма над угнетенным рабочим классом»<sup>1)</sup>.

И, когда мы внимательно вчитываемся в обширный стенографический отчет о заседаниях I Учредительного Конгресса Профинтерна, мы убеждаемся, что

<sup>1)</sup> Отчет Межсовпрофа, стр. 182—183.

им проделана действительно огромная работа, обеспечившая успешное разрешение поставленных им себе задач.

Основной вопрос, которому участники с'езда уделили самое пристальное внимание,—вопрос о взаимоотношениях Профинтерна с Коминтерном, решенный, как мы уже знаем, в положительном смысле уже на совещаниях 1920 г., вызвал горячие и страстные дебаты. И это вполне естественно. Ибо в зависимости от того или иного решения этого кардинального вопроса, подробно проанализированного в прениях во всей его сложности и глубине, стояли другие решения, которые приходилось выносить по целому ряду смежных вопросов. Таковы вопросы о самостоятельности профсоюзов и независимости их от политических партий, не только буржуазных,—что с точки зрения классовой борьбы вполне понятно,—но и политических партий рабочего класса. Эту точку зрения энергично отстаивала на конгрессе группа французских революционных синдикалистов, признававших профсоюз самодовлеющей организацией, способной произвести социальную революцию путем всеобщей стачки. Сюда же относится и вопрос о пресловутой «нейтральности» профессиональных организаций, горячо защищавшейся немногими анархистами, участвовавшими в работах с'езда.

Однако, несмотря на все эти разногласия, понятные на таком многолюдном конгрессе, на который с'ехалось 340 делегатов от 42 стран, представлявших различные направления и оттенки революционной мысли и борьбы,—настойчивой и дружной коллективной работой собравшемуся в Красной Москве I Учредительному с'езду Красного Интернационала Профсоюзов удалось, при помощи некоторых взаимных уступок, преодолеть обнаружившуюся рознь и выработать общую идеологическую и тактическую платформу, на которой объединились все представители революционно-классовых профессиональных союзов.

Основной вопрос о взаимоотношениях с Коминтерном был решен в соответствии с постановлением, зафиксированным уже во временном Уставе Межсовпрофа. Решение конгресса было закреплено не только в особой резолюции, но и в особой главе (X) Устава Красного Интернационала. В этом же духе принята и обширная резолюция об отношениях между классовыми, профессиональными и политическими организациями рабочего класса.

«Цель революционных союзов,—гласит, между прочим, обширная резолюция, принятая конгрессом по вопросу о тактике,—низвержение капитализма и установление социалистического строя. Эта же цель стоит и перед революционной партией пролетариата... Но общность цели, разумеется, предполагает, и общность методов борьбы за достижение этой цели. Поэтому, «единство действий, органическая связь коммунистических партий с профсоюзами является предварительным условием успеха в борьбе против капитализма»<sup>1)</sup>. Подвергнув далее беспощадной критике тактику Амстердамского Интернационала, резолюция характеризует затем подробно методы и способы борьбы, а также программу действий в ближайший подготовительный период, предшествующий революции. Она далее подчеркивает, что революционные профсоюзы, «вырывая шаг за шагом у господствующих классов уступки»,

<sup>1)</sup> Резолюции и постановления I-го Международного Конгресса, стр. 24—25.

участвуя в конфликтах, возникающих на почве повседневной борьбы за текущие интересы, «обязаны обобщать эти конфликты, поднимая все время рядовых рабочих до сознания необходимости и неизбежности социальной революции и диктатуры пролетариата»<sup>1)</sup>.

В той же резолюции по тактике, как и в резолюции по организационному вопросу, съезд занял совершенно определенную позицию по отношению к соглашательским профсоюзам. «Не разрушение, а завоевание союзов», т. е. многомиллионной пролетарской массы, входящей в их ряды— вот вокруг чего должна идти и сосредоточиваться борьба. Оставаясь внутри союзов, необходимо создавать там коммунистические ячейки, чтобы этим путем революционизировать союзы и превратить их в орудие социальной революции.

Отметим еще важную резолюцию, посвященную профессиональному движению в странах Востока и в колониях. Горячо приветствуя разрастающееся в этих странах профессиональное движение, съезд призывает все революционные союзы всемерно помогать рабочему движению восточных и колониальных стран и «сделать все от него зависящее, чтобы собрать в одну братскую семью профессионально организованных рабочих как передовых капиталистических, так и ближневосточных и дальневосточных стран и колоний». А затем съезд обращается с призывом к рабочим Турции, Индии, Кореи, Китая, Египта и всех других эксплуатируемых мировым капиталом стран вступить в ряды Красного Интернационала Профсоюзов, чтобы «общими усилиями низвергнуть мировое господство буржуазии и на развалинах его водрузить международное братство трудящихся и обездоленных»<sup>2)</sup>.

Таким образом мы видим, что на I Учредительном Конгрессе Профинтерна были положены основы организационного и идеологического единства различных течений в рабочем движении, которые на этом конгрессе были представлены. Все они объединились на признании социальной революции, диктатуры пролетариата и необходимости самого тесного сотрудничества с Коминтерном. Первый Международный Конгресс Революционных Профсоюзов, — по словам тов. Лозовского, избранного генеральным секретарем Красного Интернационала Профсоюзов, — выполнил «задачу собирания распыленных революционных сил, выработки единой линии и создания крепкого фундамента для прочной организации революционно-классовых профсоюзов». Резолюции, принятые конгрессом, представляют собою «сконцентрированный опыт рабочего движения всех стран». Съезд наметил ясную организационную линию, дал указания по основным вопросам организационного строительства, выдвинул лозунг организации союзов по производствам, создания фабрично-заводских комитетов, поставил на практическую почву вопрос о завоевании старых союзов... высказался против национальных союзов, дал лозунг создания объединений исключенных союзов и т. п.»<sup>3)</sup>. Дав таким образом ответ на все острые вопросы современного профессионального движения, первый учредительный съезд стал в глазах руководителей национальных рабочих организаций крупным авторитетом, который затем был перенесен на вышедший из его

<sup>1)</sup> Резолюции и постановления I-го Международного Конгресса, стр. 32.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 66.

<sup>3)</sup> Резолюции и постановления I-го Международного Конгресса. Предисловие А. Лозовского, стр. 3—7.

недр Профинтерна, ставший отныне центром притяжения и объединения всех разрозненных революционных профсоюзов.

За недостатком места нам придется ограничиться только несколькими словами о втором конгрессе и немного подробнее остановиться на третьем.

Второй Конгресс Профинтерна отделен от первого промежутком в 16 месяцев. В течение этого времени Профинтерну приходилось работать в очень трудных условиях. Амстердам продолжал вести против революционных союзов и его международного центра самую ожесточенную кампанию; вместе с тем и наступление капитала становилось все более уверенным и наглым, а капиталистические правительства принимали все меры к предотвращению возможности общения их рабочих с ненавистными им большевиками. Тем не менее Профинтерн и словом и делом реагировал на все крупнейшие вопросы в области мирового рабочего движения и продолжал дело собирания разрозненных сил революционного пролетариата.

Из вопросов, стоявших на обсуждении II съезда, важнейшим является вопрос о едином фронте, как предварительном шаге на пути к полному единству профессионального движения. Профинтерн, начиная с сентября 1921 г., неоднократно обращался к Амстердамскому Интернационалу с предложением единого фронта для совместных действий против наиболее серьезных проявлений капиталистического наступления и политической реакции. Амстердамский Интернационал не только упорно уклонялся от каких бы то ни было общих согласованных действий с революционными организациями, но сознательно саботировал попытки масс противостоять капиталу своими объединенными силами, заранее обрекая на неудачу организованное активное выступление рабочих против крепко сплывавшейся в мощные организации буржуазии.

Стремясь к созданию единого фронта, Профинтерн выдвигал при этом следующие цели: 1) борьба против понижения зарплаты, 2) защита 8-часового рабочего дня, 3) борьба за охрану труда, 4) за обеспечение безработных, 5) борьба против штрейкбрехеров, против фашизма, против войны и т. д. Таким образом, единый фронт, по мысли красного Профинтерна, есть лишь орудие борьбы, исключаящую всякую попытку к какому бы то ни было сотрудничеству с классовым противником. Но вместе с тем единый фронт ни в какой мере не означает отказа соглашающихся сторон от своих принципов и идей. Заключение соглашения для проведения какой-либо общей кампании ничуть не должно связывать свободу революционных организаций в деле пропаганды этих идей.

Дблизаясь единого фронта на почве повседневной борьбы рабочих против наступающего капитала, II Конгресс одновременно об'явил ожесточенную войну против расклевнической политики международного реформизма. С практическим предложением к проведению единого фронта Профинтерну пришлось выступить непосредственно после II Конгресса на Гаагском Конгрессе мира, созванном амстердамцами. Предложение представителей ВЦСПС о едином фронте, сделанное от имени Профинтерна, встречено было самым резким отпором со стороны реформистов, в то же время охотно вступивших в блок с буржуазными пацифистами.

В один из критических моментов международного положения Европы, после оккупации Рура, Коминтерн и Профинтерн 15 января 1923 г. снова

обратились к Амстердамскому Интернационалу с предложением немедленно вступить в переговоры о совместных действиях для предотвращения новой войны. Но даже в этот критический момент реформисты уклонились от совместных действий. Все последующие попытки создать единый фронт, который Профинтерном рассматривался как первый шаг к созданию единства профессионального движения в национальном и интернациональном масштабе, имели не больший успех.

Проблема единства профдвижения, о которой говорили уже на II-м съезде во всем ее широком объеме была поставлена на III Конгрессе Профинтерна, который выдвинул ее на этот раз, как центральный пункт в программе съедовских работ. Та же проблема служила предметом глубокого внимания и на состоявшемся незадолго до III Конгресса Профинтерна V Конгрессе Коминтерна. Профинтерн, как генеральный штаб международного революционного профдвижения, должен был вплотную подойти к вопросу о единстве не только как к теоретической проблеме, но подробно изучить и практические способы проведения единства профдвижения в жизнь. Для этого Профинтерн имел уже достаточно богатый опыт. На III съезде 8—22 июля 1924 г. в Москве генеральный секретарь Профинтерна, тов. Лозовский, уже мог сказать в своей ответственной речи, что «мы создали мировую организацию профессиональных союзов; мы имеем единую программу, единую тактику, мы имеем разбросанные по всему земному шару опорные пункты»<sup>1)</sup>.

«Профинтерн, говорит тот же тов. Лозовский в своем докладе о деятельности Исполбюро Профинтерна, стал теперь не только мировой организацией по своей программе и тактике, но мировой организацией и по количеству объединяемых членов и по тому, что ему удастся все больше и больше борьбу отдельных отрядов рабочих выводить за пределы государственных и национальных границ»<sup>2)</sup>.

Если за четыре года со времени первого совещания в Москве в июне 1920 г. Профинтерн вырос в столь мощную организацию, то за это же время во всем международном рабочем движении углублялся и ширился процесс революционирования, выразившийся в оформлении так называемого «левого крыла» и движения революционных меньшинств,—процесс, особенно ярко выявивший себя в толще английского рабочего класса, служащего, как известно, главным устоем Амстердамского Интернационала, этого реформистского оплота капитализма. Этот левый сдвиг в международном рабочем движении, свидетельствующий о крупной перемене в настроении масс, был вдвойне выгоден Профинтерну—он ослаблял силы самого непримиримого противника единства и в то же время создавал более широкую базу и более благоприятную атмосферу для того, чтобы поставить вопрос о практическом разрешении проблемы единства во всей ее остроте.

Принятая на III съезде после продолжительного обсуждения резолюция о борьбе за единство международного профдвижения в смысле ясности и широты постановки вопроса и в смысле целесообразности и четкости предложенных способов его решения не оставляет желать большего. «Ни на минуту не прекращая,—гласит второй пункт этой резолюции,—своей решительной

<sup>1)</sup> III-й Конгресс Красного Интернационала Профжэзов. Отчет М. Москва, 1924, стр. 10.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 32.

борьбы со всякими проявлениями реформизма в международном рабочем движении, беспощадно вскрывая всю предательскую его сущность, неумоимо разъясняя это всем рабочим, не понявшим еще сущности реформизма, как тормоза в освободительной борьбе пролетариата, III Конгресс считает, в интересах концентрации пролетарских сил и единого руководства борьбой рабочих против экономического наступления капитала и фашистской реакции, наиболее актуальной задачей своей деятельности развитие широкой кампании в рабочих массах за единство международного профессионального движения... «Одним из следующих в этом направлении шагов,—говорится далее в пункте 4-й резолюции,—...мог бы быть созыв *об'единительного* интернационального конгресса, на котором должны быть представлены организации, примыкающие к обоим Интернационалам (Москва и Амстердам) на основе пропорционального представительства, для выработки общего устава и создания исполнительных органов *об'единительного Интернационала*... Во исполнение этого Конгресс считает полезным войти... в сношения с Амстердамским Интернационалом и британскими тред-юнионами. Вместе с тем Профинтерн предлагает примыкающим к нему профессиональным организациям и сейчас не упускать ни одного благоприятного случая для переговоров с Амстердамским Интернационалом или отдельными его частями по вопросу об осуществлении единства, но под его, Профинтерна, руководством. Кроме того, III Конгресс тогда же выделил особую «комиссию единства мирового профдвижения из 17 человек, которая должна была повести, под руководством Исполбюро Профинтерна, работу в указанном выше направлении»<sup>1)</sup>.

На проектируемый об'единительный с'езд единства договаривающиеся стороны должны явиться, как стороны равноправные, не связанные никакими предварительными условиями. В результате свободной дискуссии, с'езд должен завершиться образованием нового об'единенного Интернационала профессионального движения, в котором сольются оба ныне раздельно существующие. Кому будет принадлежать в этом новом едином Интернационале идейное руководство и фактическое преобладание—Москве или Амстердаму, будет зависеть от того соотношения сил, какое в конце концов сложится на об'единительном с'езде единства, где все вопросы, как предлагают сторонники Профинтерна, должны решаться большинством голосов. При этом участники обеих договаривающихся сторон на конгрессе единства должны будут заранее принять на себя обязательство подчиниться этому решению, каково бы оно ни было. Это обязательство, впрочем, не исключает свободного исповедания и пропаганды своих взглядов и идей внутри общей организации, поскольку этим не нарушается союзная дисциплина, обязательная в одинаковой мере и для большинства и для меньшинства при проведении в жизнь постановлений, принятых общими конгрессами, конференциями и руководящими органами профессионального движения.

Во время обсуждения проблемы единства профдвижения III Конгресс Профинтерна имел перед собою лишь резолюцию Амстердамского Конгресса, принятую последним на его венском с'езде (июнь 1924 г.) по поводу внесенного представителями английских тред-юнионов предложения об установлении

<sup>1)</sup> III Конгресс Красного Интернационала Профсоюзов. Отчет. Москва. 1924 г., стр. 338—339.

соглашения с русскими союзами и Профинтерном. Что же говорит эта резолюция? Выразив лицемерное сожаление по поводу непризнания советскими союзами статута Амстердамского Интернационала, резолюция далее предлагает «принять, по мере возможности, меры к вовлечению в международное профдвижение советских профсоюзов, без ущерба во всяком случае для авторитета (!) Амстердамского Интернационала, неизменно придерживаясь статута последнего»<sup>1)</sup>.

Таким образом, составители резолюции совершенно извратили всю постановку вопроса, перенеся последний из плоскости свободного соглашения равноправных сторон в плоскость одностороннего подчинения, ибо, как это видно из последней части резолюции, советским союзам навязывалось признание амстердамского статута как предварительное условие *вхождения* в Амстердамский Интернационал. Это, разумеется, весьма далеко от желания достигнуть единства и равносильно сознательному саботированию его.

Венское решение, конечно, было совершенно неприемлемо для III Конгресса Профинтерна и потому в вопросе о единстве сторонники последнего, продолжая последовательно и настойчиво вести свою линию, действуя через голову реформистских верхушек в массах, призывали их неустанно бороться за единство мирового рабочего движения вопреки злостному саботажу профсоюзной бюрократии.

Только год прошел со времени III Конгресса Профинтерна, где проблема о единстве мирового профдвижения была поставлена во весь ее рост, подвергнута самому подробному и всестороннему анализу и из области теоретических суждений перенесена на реальную почву практического ее разрешения. За этот год произошел ряд высокознаменательных событий далеко двинувших вперед дело единства.

К сожалению недостаток места лишает нас возможности остановиться на этих событиях и мы должны ограничиться лишь констатированием того факта, что эти события отмечают собою ряд этапов на нашем боевом пути, приведшем к тому великому достижению в области единства, с указания на которое мы и начали настоящий очерк—к образованию англо-советского комитета единства. Мировая буржуазия и реформисты не могли скрыть ту глубокую тревогу, которая охватила их при первом известии об этом новом факте. Дело, конечно, не в том, что образовался новый орган для собирания революционных пролетарских сил, а в самих этих пролетарских массах, глубоко ощутивших настоящую потребность в сплочении своих сил перед лицом наступающего единым фронтом капитала. Как только факт образования англо-советского комитета единства получил достаточно широкое распространение, не замедлил вызвать созвучное движение и в других странах. Движение в пользу единства встречает широкую поддержку во Франции. Во французской реформистской Всеобщей Конфедерации Труда образовалось левое крыло, а 50 принадлежащих к ней местных профсоюзов установили связи с Унитарной Конфедерацией Труда (примыкающей к Профинтерну) и требуют восстановления единства.

Точно также в Бельгии—этой цитадели реформизма—растет и крепнет левое крыло внутри Синдикальной Комиссии (бельгийское реформистское объеди-

<sup>1)</sup> А. Лозовский.—Мировое проф. движение, стр. 50—51.

нение профсоюзов), которое заявляет о своей полной солидарности в области международного единства с Англо-Советским Комитетом и о готовности оказывать ему всемерную поддержку.

Такие же тенденции в связи с рождением Англо-Советского Комитета наблюдаются среди социал-демократических масс и в Германии и в Швейцарии. Вот почему ВЦСПС имел полное основание выразить в принятой им на пленуме 30/IV резолюции по докладу т. Томского об англо-советской профсоюзной конференции уверенность в том, что «многие миллионы рабочих не только Великобритании и СССР, но и других стран, а равно и все, кому дорого дело единства, поддержат своей солидарностью и борьбой за него дело, начатое профсоюзами Великобритании и СССР и их объединенным комитетом».

Успехи движения в пользу единства отмечаются в различных центрах не только Европы, но и восточных стран. Начинают издаваться специальные печатные органы, посвященные вопросам единства (в Англии, в Бельгии) и приближающие тот «день, когда профсоюзы всех народов без различия расцвета, пола, направлений и политических и религиозных взглядов окажутся по словам т. Перселя, в единой, всеобъемлющей мировой организации»<sup>1)</sup>.

Мы не можем останавливаться на структуре Профинтерна и его органах местных и зарубежных. Приведем только данные о силах Профинтерна. Надо оговориться, что точного учета этих сил нельзя дать, так как очень трудно подсчитать численный состав меньшинств, примыкающих к нему идеологически, но фактически остающихся в реформистских организациях. Вообще состав организаций, примыкающих к Профинтерну, крайне разнообразен: имеются организации, охватывающие все или почти все профдвижение страны, охватывающие большинство или меньшинство, отдельные независимые революционные союзы, организованные меньшинства внутри реформистских объединений (эти меньшинства и составляют главные силы Профинтерна). Ниже мы приводим таблицу, составленную на основании данных, которыми располагает Информационное бюро Профинтерна, и дающую лишь приблизительное исчисление сил Красного Интернационала Профсоюзов.

СТРАНЫ.	НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.	Число членов.	Примечание.
1. Германия. . . . .	а) Унион и независимые рев. лев. союзы . . . . .	50.000	В 1923 г.
	б) Меньшинство . . . . .	2.000.000	
2. Англия. . . . .	Национальное движение меньшинств . . . . .	600.000	
3. Франция. . . . .	Унион рая Конфедерация Труд. . . . .	460.000	
4. Чехо-Словакия. . . . .	а) Межн. проф. общ. проф. союз (МОС). . . . .	160.000	
	б) Другие революционные союзы . . . . .	60.000	
	в) Меньшинство . . . . .	неизвст.	
5. СССР. . . . .	ВЦСПС . . . . .	6.500.000	
6. Италия. . . . .	Меньшинство . . . . .	100.000	

<sup>1)</sup> «Международное Рабочее Движение» №№ 5—6, 7, 9, 12, за 1925 г.

СТРАНЫ.	НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.	Число членов.	Примечание.
7. Испания и Португалия . . . . .	Меньшинство . . . . .	100.000	
8. Австрия . . . . .	а) » . . . . .	10.000	
	б) независимые союзы . . . . .	10.000	
9. Польша . . . . .	Меньшинство . . . . .	170.000	
10. Швеция . . . . .	» . . . . .	30.000	
11. Голландия . . . . .	а) » . . . . .	10.000	
	б) Национ. рабочий секретариат (НАС) . . . . .	14.000	
12. Швейцария . . . . .	Национ. рабочий секретариат . . . . .	40.000	
13. Греция . . . . .	» » » . . . . .	40.000	
14. Юго-Славия . . . . .	Центр независимых союзов . . . . .	30.000	
15. Норвегия . . . . .	Меньшинство . . . . .	25.000	
16. Румыния . . . . .	Унитарная Конфедерация Труд . . . . .	30.000	
17. Финляндия . . . . .	Пресфцентр . . . . .	30.000	
18. Бельгия . . . . .	а) Независимые союзы . . . . .	15.000	
	б) Меньшинство . . . . .	30.000	
19. Эстония . . . . .	} Пресфцентры . . . . .	25.000	
20. Болгария . . . . .		40.000	
21. Египет . . . . .		50.000	
22. Соед. Штаты и Канада . . . . .	а) Независимые союзы . . . . .	20.000	
	б) Округ Лиги профсоюзов пропаганды . . . . .	100.000	
23. Кит. й . . . . .	—	500.000	
24. Япония . . . . .	Меньшинство . . . . .	60.000	
25. Персия . . . . .	Пресфцентр . . . . .	20.000	
26. Турция . . . . .	—	20.000	
27. Мексика . . . . .	Меньшинство . . . . .	30.000	
28. Чили . . . . .	Профцентр . . . . .	40.000	
29. Аргентина . . . . .	Меньшинство . . . . .	30.000	
30. Голландская Индия (Индонезия) . . . . .	—	30.000	

и в ряде более мелких стран —несколько тысяч.

В общем под идейным и организационным руководством Профинтерна находится не менее 11—12 миллионов организованных рабочих мира.

Амстердамский Интернационал сначала насчитывал до 25 миллионов членов, в настоящее время он определяет их в 16 миллионов. Но если принять во внимание, что Амстердам, без всякого на то основания, засчитывает в число своих членов все меньшинства реформистских союзов, принадлежащих к нему лишь формально, идейно же—целиком к Профинтерну, то окажется, что профессиональные кадры Амстердама не превышают или превышают лишь незначительным пролетарские кадры Красного Интернационала профсоюзов, и, таким образом силы обоих профессиональных Интернационалов почти уравновешиваются.

После этого становится понятным, почему Амстердамский Интернационал так упорно уклоняется от всех делаемых Профинтерном и его крупнейшей силой ВЦСПС, предложений об установлении единого фронта, а тем более—от предложения о союзе об'единительного с'езда единства, о котором мы уже говорили выше. Здесь, помимо идейных разногласий, оказывают большое влия-

ние и шкурные интересы амстердамцев—они боятся остаться на съезде в меньшинстве и потерять свои прибыльные и влиятельные места, на которых рабочие массы, вследствие недостаточной сознательности своей, все еще терпят их.

Но советскими союзами и британскими трэд-юнионами сделан «великий почин». Этот почин в деле единства мирового профдвижения начинает давать плоды: среди реформистских рабочих масс наблюдаются первые признаки отрезвления от соглашательского обмана. Перед лицом беспощадного наступления капитала, покушающегося на самые элементарные условия существования рабочего и его семьи, пролетарии начинают воочию убеждаться, что только в объединении их сил в мировом масштабе—их спасение и залог их победы. «И когда единство будет достигнуто,—пишет т. Персель в новом лондонском ежемесячнике (в апрельском № 1) международного профессионального единства «Профсоюзное Единство»,—следующей задачей рабочего класса будет—использовать свои силы для того, чтобы добиться своего освобождения, освободить подчиненные народы и положить конец капитализму и связанному с ним нищете и варварству».

Великий клич авторов Коммунистического Манифеста: «Пролетарии всех стран, соединитесь!»—попрежнему остается самым жизненным боевым кличем нашей революционной эпохи.

М. БРАГИНСКИЙ.

# Крепостные поэты<sup>1)</sup>.

Леонид Гроссман.

Простой, безвестный селянин  
из дальнего России края...

Суханов.

**В** 1826 году крестьянский поэт Михайло Суханов был принят известным русским ученым—адмиралом Шишковым. До нас дошло любопытное свидетельство об этой встрече двух писателей.

«Суханова я видел в первый раз у адмирала А. С. Шишкова,—рассказывал впоследствии один из очевидцев.—Робкий, неуклюжий, но с умным, благородным и честным лицом, Суханов был истинный тип русского человека. В простом синем кафтане, с подстриженными волосами, с небольшою бородою, он стоял в почтительном отдалении пред русским вельможею и на вопросы адмирала отвечал умно и ясно».

Так протекала в России в Пушкинскую эпоху беседа двух литераторов. Крестьянский поэт должен был стоять на вытяжку и в почтительном отдалении перед вельможным адмиралом, оказывавшим ему высокую честь своего внимания. Поэт оставался и в кабинете своего собрата по перу крепостным человеком, не смевшим даже присесть в присутствии помещика. Литературная беседа велась словно по военному уставу с возможностью для низшего чина только отвечать на задаваемые ему вопросы.

Так принимал в 1826 году президент Российской Академии Наук одного из самых выдающихся крестьянских поэтов своей эпохи.

## I.

В лице архангельского крестьянина Михаила Суханова мы несомненно имеем одного из наиболее даровитых представителей всей плеяды крепостных поэтов. С большим пониманием своих сил и средств он не остановился на опытах книжной поэзии, но смело обратился к народной песне. Не ограничиваясь подражаниями Жуковскому или Крылову, он разработал с таким совершенством живой материал устного творчества, что создал в этой области ряд образцов, сохранивших до сих пор свое значение. Некоторые песни архангель-

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир» № 3 (о Егоре Алипанове).

ского Кольцова», как называли впоследствии Суханова, пользовались большой популярностью, перепечатывались в различных песенниках и до сих пор во многом сохраняют свою художественную ценность и поэтическую свежесть.

Биография Суханова характерна для поэта-самоучки начала прошлого века. Жизнь его была трудна и безрадостна. Он имел право «на подпути земного бытия» вводить в свою лирику такие скорбные ноты:

Дождусь ли я,  
Чтобы кусок насущный хлеба  
Не облил был моей слезой?

Но этот долгожданный момент так и не наступил, и эпилог этой жизни был так же безотраден, как и все ее этапы.

«Михаил Дмитриевич Суханов, Архангельской губернии, Княжеостровской волости, деревни Славянской экономический Чужоносный крестьянин<sup>1)</sup>, не получил никакого воспитания», — начинает знаменательной фразой его биографию один из современников. — Он родился в 1801 или 1802 году и детство провел в деревенской хижине. На 11 году отдали его в сидельцы к одному купцу-меняле, где было бедному мальчику худое житье; он принужден был на расстоянии нескольких верст перетаскивать на себе мешки с медными деньгами для обмена. Скупой хозяин кормил скупо и в 1812 и 1813 гг. Суханов зимою в трескучий мороз в легком платье оставлял у лавки целые дни с семи часов утра до семи вечера, пересчитывал деньги, так что пальцы часто «примерзали к меди от холода»... Здоровье его явно слабело. Родителям пришлось перевести подростка из лавки мянэлы к другому купцу, где при большем досуге Суханов получил возможность отдаться жадному чтению.

«С самого детства, наслышавшись о славе своего единосемца *Ломоносова*, полюбил он науки и словесность и без учителя, с одним прилежанием, обучился русской грамоте и письму, стал читать лучших российских писателей, и наконец с 1825 года начал сам уж ажняться в стихотворстве».

Из других источников мы узнаем, как протекала ранняя писательская работа Суханова. Литературных руководителей и советчиков у него не было. Он много читал и неутомимо работал над отделкой и усовершенствованием своих первых опытов. Целый день занятый торговыми делами в архангельской лавке (куда он перешел от купца-менялы) он уделял своим словесным занятиям только ночи, но работал упорно и неутомимо. Удаленный от всяких возможностей печататься и издаваться, он удовлетворял свою потребность общения с читателем декламацией своих произведений всем добровольным слушателям.

Некоторый культурный слой был в то время представлен в Архангельске служащими во флоте. Молодые моряки видимо заинтересовались опытами поэта-самоучки и, может быть, даже уговорили его послать их в «Русский Инвалид». Во всяком случае служивший в начале 20-х гг. во флоте в Архангельске некий Демков в своих «Замечаниях во время пребывания в Архангельске с 15 сентября до 6 декабря 1823 г.», оставил ценное свидетельство о молодом Суханове, которого он называет «самородным русским поэтом».

<sup>1)</sup> Мы видим, что юридически Суханова собственно нельзя относить к крепостным, но личная судьба его и, особенно, его творчество несомненно отнесет его к этой группе людей.

«Он еще молод, имеет некоторые сведения в истории, географии, литературе; видно, что достаточно читал; но его образование не имеет ничего законченного и систематического. Порою он высказывает такие знания о некоторых предметах, каких нет ни у одного из нас (т.-е. флотских), а иногда доходит до наивности ребяческой, потому что не знает самых простых вещей. Он хочет учиться французскому языку и желает побывать где-нибудь за границей. Он достает книги отовсюду, где только можно достать, и собрал у себя уже достаточное количество, но жалеет, что не может достать лучших для руководства и занятия ими на свободе к основательному изучению и образованию себя».

В августе 1824 г. Суханов переезжает в Петербург. Переезд этот длился целый месяц (с 29 июля по 1-ое сентября) и был описан в «Путевом Журнале крестьянина Суханова», опубликованном тогда же в печати. Цель поездки — стать ближе к литературе. Поэт рассчитывал при этом «найти себе место у какого-нибудь кушца на конторе».

Но если деловые планы Суханова и не осуществились, он несомненно успел в чисто литературном отношении. Эпоха до известной степени благоприятствовала народному стихотворцу.

Это было время «стилизованной народности», т.-е. литературной моды на крестьянское искусство. Некоторые журналисты обратили внимание на Суханова и стихотворения его, начиная с 1826 г., появляются в различных журналах и альманахах («Сыне Отечества» «Благонамеренном», «Славянине», «Памятнике отечественных муз» и др.). Поэт начинает бывать в журнальных кругах, посещает издателя «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» А. Ф. Воейкова, встречается с В. Федоровым и другими. В это время его принимает Шишков.

Но, несмотря на известное сочувствие и поддержку в литературных кругах, и даже на удачные шаги в печати, Суханову жилось в Петербурге не радостно и не легко. Уже в предисловии к собранию его стихотворений 1828 г. издатель, по совершенно свежим свидетельствам, отмечает тяжелый конфликт в его биографии. Стихотворения его печатались и «читались многими с удовольствием», — «а сам Суханов тогда находился в крайней бедности! Надежды найти себе место у какого-нибудь кушца не оправдались. «Люди торговые мало ценили дарования человека, занимавшегося словесностью... Крестьянин-поэт несколько времени имел пристанище у ремесленника, которому помогал в работе. Он даже не имел теплого платья, а открыться в крайности и просить — стыдился»...

В это время Суханов в послании к другу свидетельствует, что «занят всякой день претягостной работой»... Жизненный режим его исключает возможность заниматься поэзией: «Встаю всегда с зарей; возьму ведро и за волоку иду на славную Неву»...

Приду ли в дом,  
Тогда займуся  
Другим трудом.  
И всякой час я до полу тружуся...

Неудивительно, что это послание открывается подлинным стихом-стоном:

Мой друг, не говори мне больше о стихах.

Впоследствии он вспоминал это время, как «дни бед и испытаний»:

Я был тогда над грозною пучиной  
Жизнейских бед—ревущей подо мною  
И мнил в нее низринуться всечасно.

В судьбе Суханова принимает ближайшее участие литератор и поэт Борис Федоров. Ему удается одновременно продвинуть Суханова на литературном пути и устроить его в практическом отношении, предоставив ему место поверенного по откупам в Ярославской губернии. В это время архангельское общество «по случаю рекрутской очереди» требует возвращения Суханова на родину. Опасаясь, чтоб рекрутчина не имела «бедственного влияния на слабое здоровье Суханова», литературные друзья во главе с Федоровым издают сборник его произведений («Басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михаила Суханова», Спб. 1828 г.), «дабы продажей экземпляров сей книги собрать сумму, достаточную на выдачу за него рекрутской квитанции обществу»... План очевидно удался—Суханов на военную службу не попал. Издание же его стихов оказало ему еще одну услугу: Российская Академия признала автора достойным серебряной медали.

Но ни заметный успех в критике, признавшей «в баснях Суханова много остроумного, в стихотворениях-песнях милую простоту, познание русских обычаев и чувство», ни даже академическая награда не дали поэту-крестьянину нужных условий для его литературной работы. Он продолжает тяготиться своей столичной жизнью и вскоре в его биографии открывается новый скитальческий период.

«Беспокойный Грен, — рассказывает Грен, — не любил долго жить на одном месте, часто перебивался он из Петербурга в Новгород, в Вятку, в Пошехонье, в Архангельск. Эти странствия имели важное последствие для литературной работы Суханова: он стал собирателем народного песнетворчества. «Я на своей родине и родине Ломоносова собираю древние русские стихотворения, думаю напечатать их», писал Суханов из Архангельска Грену. И действительно в начале 40-х годов выходит его сборник: «Древние российские стихотворения, служащие дополнением к Кирше Данилову». Авторитетный Плетнев приветствовал в своем «Современнике» этот новый опыт собирания памятников народной поэзии.

Все это не спасало Суханова от нужды. В 1840 г. он служил недолго в качестве приказчика у одного книгопродавца. Но торгашество было настолько чуждо его натуре, что часто он отговаривал покупателей от покупки бесполезных книжек. Неудивительно, что он пробыл здесь только «с небольшим два месяца» и вскоре снова отправился странствовать...

О характере этих скитальчеств свидетельствуют отрывки из его писем. 10 июля 1840 года он писал Грену из Новгорода: «...Путешествие мое от Петербурга до Новгорода продолжалось почти трое суток. Я ехал с возами, а потому и медленно. В город я прибыл 6-го июля в день открытия здесь памятника, воздвигнутого в честь Новгородского ополчения, подвизавшегося в 1812 году»... Этот памятник вызывает характерную для созерцательной натуры тоску по активной жизни и борьбе. «Вообразив о славе великих людей, героев нашего времени, я почти завидую их участи и порою охотно променял бы мою бедную сельскую свирель на меч булатный. Но, к несчастью, природа

назначил мне другую участь, другой удел—быть плохим сельским бандуристом»...

В перерывах между двумя поездками Суханов добывал себе в Петербурге средства к существованию литературным трудом: «по заказу книгопродавцев он составлял сборники русских песен, писал плохие детские книжонки и даже издавал «сонники» и «оракулы». За каждую подобную составленную им книжку он получал от наших афферисгов-книгопродавцев рублей 25, а много 50 ассигнациями. Из бедности же он спешил писать стихи, издавал их по подписке, за что получал рублей двести или триста ассигнациями»...

Но при этой вечной нужде, Суханов ухитрялся оказывать окружающим материальную поддержку. Сохранилось свидетельство о его большой отзывчивости: «Он делился с бедняком последними крохами. Однажды архангелогородские земляки его жаловались ему на неурожай и на недостатки свои. Суханов в это время не имел ни гроша». Но он «занял деньги (20 рублей ассигнациями) на Толкучем Рынке у знакомого букиниста и выслал землякам своим».

Уже в начале 40-х годов здоровье Суханова сильно пошатнулось, а неудачи личной жизни сгустили его безрадостное настроение. «Жаль было смотреть на Суханова»—пишет Грен о своей встрече с ним в 1840 году. «Неудачи с'едали его здоровье, и в это-то горестное для него время он написал умную, прекрасную сказку «Весенний снег»:

Всина!—А снег несет...  
 В полях позябнут яровые.  
 Пора придет—  
 А что мы станем жать? Поля, как степь, пусты  
 Посохнут, пож'лтеют все.  
 Ни колеска на полосе...  
 А там... зимой  
 Настанет голод.

«В 1842 году Суханов уехал в Новгород,—продолжает летописец его жизни,—оттуда я не получал от него никаких писем; он пропал из виду. Случайно я зашел в том же году в одну книжную лавку, и здесь получил горестное известие, что поэт Суханов умер. Ему было не более сорока лет».

Есть основание предполагать, что Суханов скончался в Новгороде, где он прожил некоторое время в болезнях и одиночестве.

Так протекала жизнь этого «самоходного-поэта» среди литературных планов, вынужденной торговли и свободных скитальчеств. Его книги забыты. Но несколько строф его до сих пор живут в песенной пародной традиции и, может быть, навсегда сохранятся в пей.

## II.

Суханов вполне осознавал свое призвание поэта, отдавал себе полный отчет в его значении, глубоко верил в его смысл.—«Поэтом быть желанием сгораю», пишет он в одном из своих ранних стихотворений. И впоследствии он неоднократно возвращается к раздумьям о цели и задачах тружеников слова. В минуты сомнений он вспоминает своих великих предшественников:

Иди своим путем и не робей нисколько,  
 Певцов среди сельских муз довольно уж бывало.  
 Вергилий, Ломоносов был.

Он требует от поэта чистоты замыслов, бескорыстия, свободы от компромиссов, пренебрежения к условным выгодам, интересам и расчетам.

Поэту ль лестью унижаться?  
Ужели он, как низкий раб—  
Пред Крезом станет изгибаться?  
Будь тверд; имей на все терпенье...

Такими мужественными лозунгами определял Суханов свое творческое дело.—Так, мой любезный друг! Я беден, слова нет...» Но он предпочитает участь нищего поэта всякому благополучию:

Б гач, гордясь, при всем стяжаньи,  
Умрет и будет псабыт...

Но не такова участь поэта, в которую глубоко верит Суханов. Недаром он выставил эпиграфом к одному из своих стихотворных сборников стих из Державина:

Я пийт и не умру.

Все это нисколько не мешает ему вполне осознавать размер своего дарования и границы своих творческих возможностей. Нередко он называет себя «безвестным юношей,—слабейшим из певцов», «плохим сельским бандуристом», и даже тоскует по иной активной жизненной работе. Но в этой-то борьбе высоких заданий и ограниченных возможностей и заключалась та внутренняя драма поэта, без которой не бывает подлинного творчества.

Как и его современник, Егор Алипанов, наш «архангельский Кольцов» сумел провести сквозь свои хвалебные описательные или забавные стили явственные отзвуки социального протеста. Это сказывается даже в его первом прозаическом произведении, в его «Путевом Журнале», выдержанном в условно-благополучном стиле старинных описаний («молодые поселянки, которые жали рожь и пели песни»; «зеленяющие рожицы, под сенью которых паслись тучные стада»...). Но и здесь уже проскальзывает кое-где неожиданным острым углом современность: «Проехав версты две, повстречалась с нами молодая девушка, лишенная рассудка. Дьякон сказывал, что причина сему было то, что жениха ее отдали в солдаты»...

Но гораздо отчетливее эти мотивы общественного протеста звучат в стихотворениях Суханова. Он постоянно обращается к таким темам, как «защита сильных», «милость богатых», или покровительство знатных, и чем все эти замыслы неизменно выступают им в сатирическом тоне. Таковы его колючие притчи и побасенки, отмеченные явными признаками инсказательных социальных памфлетов:

«Соседка!—таи траве цветочек говорил:  
К чему бы ненависть такая?  
Что не даешь мне цвель, теснишь, лишаешь сил?»  
«Да ты,—в ответ трава сказала, прерывая,—  
Ключка земли меня лишил».

Или же родственный мотив в басне «Огонь и Береста»:

Как сильного защиты не принять?  
 Береста согласилась.  
 Чрез несколько минут вдруг начал дуть Борей.  
 С своей защитсю огонь поближе к ней;  
 Дотронулся ее, береста запылала.

Характерно, что в основе своего художественного миросозерцания Суханов ставит принцип пользы. При всем его глубоком уважении к Пушкину, которому он противопоставляет в одной басне разных «пустоцветов Парнаса», он менее всего склонен был разделить знаменитое провозглашение, смущавшее впоследствии Некрасова: «Мы рождены для вдохновенья—для звуков сладких и молитв»...

Утилитарная поэтика Суханова отразилась на его басне о том, как паук и пчела заспорили о своем мастерстве.—«Мое полезнее, ответ пчелиный был, и потому—мое славнее».

Искусству честь.

Но «пользу надобно искусству предпочесть,—заключает поэт-крестьянин. Таково его обычное положение. «Свет тех честит и тех ласкает, кто не полезнее, а видом поцветней»,—с укоризной отмечает он в другом стихотворении.

### III.

Но наиболее ценной частью сухановского наследия являются несомненно его народные песни. Здесь он наиболее непосредствен, свободен и творчески выразителен. Ранние его опыты так же показательны в этом отношении, как и позднейшие обработки многочисленных образцов песенного творчества, собранных им во время пешеходных скитаний по Новгородской и Архангельской губерниям и по уезду Пошехонскому.

Как этнограф, как собиратель народного творчества, Суханов представляет весьма примечательное явление. В предисловии к своему сборнику он указывает на методы своих записей: «Эти стихотворения собраны большей частью из уст народа, а другие из рукописных и других печатанных, лет за восемьдесят, сборников»... Мы видели; что собрание народных песен Суханова приветствовал Плетнев в «Современнике»; Белинский в «Отечественных Записках» признал это издание «одним из самых примечательных литературных явлений нынешнего года»...

Эта работа собирателя народной поэзии благоприятно отразилась на собственном творчестве Суханова. Перелагая в довольно точных размерах своеобразные стиховые построения крестьянских напевов, Суханов удачно сохраняет их ритмы, образы и словесные обороты:

Ах ты, матушна, мать быстра река,  
 Мать быстра река, Двина Северна,  
 Ты зачем, зачем с быстротой течешь?

Иногда он сменяет эти заунывные темпы на более ускоренные ритмические ходы:

В волостном большом селении  
 В дни воскресные и праздничны  
 Красны девилы сбиралися  
 На лужок цветной, муравчатой.

Сборники его народных стихотворений отличаются вообще большим разнообразием напевов. Так сохраняя размер жалобных запевок («Ах ты, матушка», и проч.), но разбивая строки и избегая повторов, Суханов получает новые стиховые типы:

День окончился,  
Темна ночь пришла,  
Села девица  
Под окошечко,  
Вышивала плат  
Чистым золотом,  
Посылала плат  
Другу милому...

Свообразны рассечения, паузы и группировки стихов в таких его отрывках:

Зарастай, моя дороженька,  
Травую,  
Зарастай, моя широкая,  
Полыню,  
Чтоб никто по той дороженьке  
Не ездил.  
И дороженька травую  
Заростала,  
И широкая—полыню  
Застыдалась...

Неудивительно, что специальные исследователи нашего фольклора признают песни Суханова особенно ценными по своей народности: они отражают первобытную поэзию не только темой, часто близкой к народной песне, но и поэтикой, и тоном—умеренно-грустным: «здесь Суханов безусловно выше Слепушкина и вне всякого от него влияния; также выше, т. е. разнообразнее и народнее, он и Дельвига»<sup>1)</sup>. Некоторые его песни, как, напр., «Красна девица сидела пред окном», приобрели широкую популярность и неизменно перепечатывались в народных песенниках<sup>2)</sup>.

Красна девица сидела пред окном,  
Утирала слезы белым рукавом.  
Пришла весточка нерадостная к ней,  
Что сердечный друг не верен больше ей.  
Что задумал он иную замуж взять.  
Как тут девице не плакать, не вздыхать?  
Стали девицу подружки утешать:  
«Челно сердцем о неверном тосковать.  
Ты в селе у нас всех лучше красотой.  
Наши молодцы любуются тобой.  
Всякий девице желает угдигь;  
Ты властна из них любова и любить».  
«Пусть их много»—красна девица в ответ—  
«Сердце милого другого не найдет»...

Таково разнообразное литературное наследие Суханова. От опытов книжной поэзии—от хвалебных од, басен, и посланий наш «архангельский мужик»

<sup>1)</sup> Н. Трубицын, «О народной поэзии», Спб., 1912. 496.

<sup>2)</sup> Приведем целиком эту любимую песню народных сборников

пришел к живому, непосредственному и свежему крестьянскому творчеству, к которому одинаково склоняли его этапы личной судьбы и органическое влечение к родным напевам северной деревни.

#### IV.

Необычна и разнообразна была участь «господского человека» Ивана Сибирякова. Это, кажется, единственный из крепостных поэтов, побывавший за границей и проявивший себя в области сценического искусства.

Крепостной одного рязанского помещика Сибиряков с детства отличался страстью к литературе и любовью к книге. Печатная страница вызывала в нем подлинное благоговение. «Книги предпочитал он всем забавам,—рассказывает его первый биограф П. Свиныин,—выманивал и покупал изогранные печатные доскутки и листки газет и журналов у товарищей своих и сохранял их с величайшим тщанием. И когда библиотека его украсилась томом «*Аонид*», то он гордился ею и не мог на нее не взглянуть. Но внезапная утрата сей жемчужины его книголюбиваго крайне его опечалила; он подозревал всякого в похищении и грустил до тех пор, пока не заменилось первое место в шкапу его списком с «*Бедной Лизы*» Кюамзина».

Сибиряков обучался в Московском народном училище, после чего был отдан в обучение кондитеру. Здесь, «не видя на бесчисленные хлопоты и трудную работу, несмотря на насмешки товарищей, упрёки и взыскания старших», он приступает к стихотворной работе.

По словам современника он в эту эпоху не имел руководителя в поэтическом искусстве и учился стихосложению по случайно попадавшим к нему листам для бисквитов.

В эту эпоху возникает его интерес к театру, сыгравший впоследствии такую заметную роль в его жизни: «Сибиряков,—рассказывает тот же современник,—был введен однажды братом своим, декорационным живописцем сцены, в немецкий театр. Хотя он не понимал языка, но игра Штейнберга—не живое представление страстей человеческих—обворожила его: он сделался страстным к театру, по случаю достал он потом комедию «Взломанная паланка» и затвердил роль *Честона*: после сего вскоре удалось ему несколько раз быть на Петровском театре, где более и более получил вкуса к драматическим представлениям. На 17-м году расстался Сибиряков с Москвою и прибыл в Рязань, где господин его был директором театра: благоприятный случай сей много содействовал к удовлетворению страсти его. На Рязанской сцене Сибиряков расквел свои дарования и принес много удовольствия публике».

Наступает 1812 год. Открывается эпоха странствий и замечательных событий в жизни Сибирякова, живо изложенных с его слов П. Свиныиным. «Доставшись господину М., отправился он с ним в поход и был в Польше, Силезии, Саксонии, Пруссии, Богемии и Гольштинии. Вспрепятственные занятия хлопотной должности (ибо он во весь поход один находился при барине своем, который был полковым командиром) могли бы исковеркать поэзию и стихи из головы всякого другого, но Сибиряков и в шуме забот и при гоме пушек думал только об одной поэзии... Написанные им стихи на некоторые блистательные подвиги русского воинства приобрели ему всеобщее благоволение, а прекрасный *Польской* на вступление в Дрезден и замысловатая

драма на интригу одного молодого офицера с хозяйской дочерью открыли щастливые его дарования».

Сибиряков принялся за изучение немецкого языка: «в Неймюнстере занимал он для сего сына городского учителя, платя ему по червонцу на неделю. Через несколько месяцев уже мог он изрядно об'ясняться на языке сем, что заставило всех еще более отличать его и самыми жителями был он чрезвычайно ласкаем»... Вернувшись в Россию, он «вновь предался страсти своей к стихотворству и театру. Неусыпным старанием, без постороннего руководства—познакомился он с расподией, узнал сочетание форм и первые правила поэзии»...

В 1818 году стихотворения Сибирякова впервые появляются в печати в «Трудах Общества Любителей Российской Словесности» (и тогда же перепечатаются в «Вестнике Европы»). Занятия по теории поэзии сказались на этой партии стихов и выразились в большом разнообразии жанров. Здесь и баллада, и басня, и надгробие, и опыт вольными стихами, и надпись к портрету. Стихи Сибирякова отличаются несомненной гладкостью и правильным пониманием разрабатываемых стихотворных видов. Так, отрывок из баллады «*Всемила и Милоя*», с подзаголовком «слабое подражание размеру стихов г-на Жуковского», довольно верно воспроизводит стиль намеченного жанра:

Стенались черны облака,  
И буря поднималась,  
И молния вдалека  
Змеями извивалась.

И только при обращении Сибирякова к близкой и выстраданной теме—своего бесправного и отверженного социального состояния—стихи его приобретают живую силу непосредственной жалобы:

Могу ли жизнь еще сносить  
С растерзанной душою?  
Ужасна бедность, но стократ  
Превренье тяжелее:  
С ним жизнь не благо—лютый ад  
И ада мне страшнее.  
Увы, и я, и я рожден  
В последний смертной доле,  
Природы чувством наделен,  
Столь гибельным в неволе.

Сибиряков получает довольно широкий доступ в печать. Опыты его появляются в «Влагонамеренном», «Отечественных Записках», «Дамском журнале» и других изданиях.

Печатные выступления крепостного поэта возбуждают к нему в обществе заметный интерес. Ряд видных литераторов принимает в нем горячее участие. Жуковский, братья Тургеневы, Вяземский, Федор Глинка предпринимают ряд шагов в целях освобождения Сибирякова. Известный военный историк Михайловский-Данилевский и даже петербургский градоначальник Милорадович привлекаются к этому делу. Свинын пробует через печать воздействовать на владельца крепостного поэта—рязанского предводителя дворянства Дм. Ник. Маслова, который сумел из этого случая извлечь для себя небывалую выгоду. «Сибиряков господский человек и принадлежит г. М-ву,—

писал покровитель поэта в 1818 году.—Честь и хвала г. М-ву, умевшему питать и поощрять способности молодого питомца муз. Станем надеяться, что благородный помещик сей, идя по следам владельца Роттова, Калашникова и других, которые, отклонив себялюбие, открыли им большие способы для усовершенствования своих дарований—что он по примеру их, впишется в число друзей человечества».

Но «благородный помещик сей», мало, повидимому, тоскуя по лаврам филантропа, сообразил, что перед ним открывается возможность крупного барыша. Не считая нужным «отклонить себялюбие», он любезно отвечал, что почитает своей «священной обязанностью способствовать счастью человека, своими достоинствами умевшего в почтенных любителях отечественной словесности снискать участие к его освобождению», и, заявляя тут же о своем «приятном долге содействовать к общему их удовольствию», потребовал за выкуп Сибирякова неслыханную сумму в 10.000 руб.

Эта чудовищная цена не испугала все же покровителей Сибирякова и в скором времени, путем широкой подписки, деньги были собраны. Крепостной поэт получил, наконец, свободу.

Пробыв некоторое время в должности канцелярского служителя департамента духовных дел, Сибиряков вскоре отдался всецело своей страсти к театру. Ему удалось поступить на императорскую сцену, где он исполнил комические роли и был суфлером. О живом интересе его к событиям театрального мира свидетельствует его посвящение А. М. Колосовой, в то время только вступившей на сцену. В своем послании молодой артистке «после вторичного представления трагедии *Мария Стюарт Королева Шотландская*» Сибиряков восхищается в первой строфе образами Гермियोны, Моины, и Антигоны, созданными молодой исполнительницей:

Но право на венок ты снова подтвердила  
 Марию Стюарт. Ах! в ней открыла ты  
 Таланта своего блистательны черты,  
 Проникнуть в души всех столь редкий дар явила,  
 Столь тронула игрой волшебною своей,  
 Что Мэльпомена бы сама венец вручила  
 Тебе, любимице своей!  
 Свершай приятны надежды, ожиданья:  
 Предшественницу нам собою замени;  
 Дай вновь трагедии весь блеск, очарованье,  
 Укрась бессмертием свои цветущи дни  
 И общее вознагради вниманье.

Но артистическая деятельность не обнаружила сценического дарования в Сибирякове и с ампула «подпольного комика», в котором, по свидетельству А. М. Каратыгиной, он «смешил всю труппу своей наивностью», поэт-актер перешел на должность суфлера—последнее прибежище театральных неудачников. Сохранилось свидетельство, что знаменитый трагик Брянский, нередко плохо знавший свои роли, перед поднятием занавеса иногда призывал суфлера Сибирякова и об'являл ему с комической угрозой: «Смотри, чтоб я знал роль!»..

Сибиряков скончался в Петербурге 28 июня 1848 года от холеры. После своего освобождения из крепостного состояния он почти ничего не писал, и литературная деятельность его закончилась с его молодостью.

## V.

Мы остановились на фигурах трех поэтов ранней крестьянской плеяды. В 20-ые годы прошлого столетия, непосредственно вслед за Слепушкиным, поднялась эта творческая новь, которой не суждено было в то время взойти и закодоситься. Но перечисленными именами далеко не исчерпывается список крестьянских поэтов крепостной поры.

Их было не мало до Суханова и Алипанова, они продолжали выступать и после них уже в середине столетия. Но часто им совершенно не удавалось выйти из безвестности, отметить свое имя в современной журналистике, оставить нам в наследие хотя бы скудные сведения о своей жизни, труде и поэзии. Крепостная Россия создавала своих анонимных художников, и только случайно дошедшие до нас строки свидетельствуют об огромных творческих силах этой забытой «безымянной Руси».

Еще в недрах XVIII столетия, вероятно, в начале Екатерининской эпохи, одним безвестным крепостным был написан замечательный «Плещ», поистине трагическая поэма отчаяния и возмущения:

О, горе нам, холопам, за господами жить!  
И не знаем, как их свирепству служить...

В горестных строках этой гневной публицистики автор восстает против «неправды российских воевод и поддерживающих в помещиках варварский навык нами, как скотом, обладать»:

Боярин умертвит слугу, как мерина,—  
Холопью доносу и в том верить не введено.  
Неправедны суды составили указ,  
Чтоб сечь кнутом тирански за то нас...

Поэма заканчивается глубоким стоном безнадежности, и отчаянной мольбой о скорейшем конце.

Еще ярче и драматичнее дошедшая до нас песня—исповедь одного крепостного живописца. Она была случайно обнаружена в деле о беглом холопе, дворовом человеке князя Н. С. Долгорукова. В 1787 году этот крепостной художник бежал от «своего князя строгого» и в былинном стиле описал жестокий и колоритный быт полновластного самодура.

Это замечательнейший человеческий документ и редкий исторический памятник:

Ох, как был-то я, добрый молодец, во неволюшке,  
Во неволюшке в доме господским.  
Служил я своему князю верой-правдою,  
Уж тому князю строгому,  
Князю Николаю Сергеевичу Долгорукову;  
Служил я ему тридцать лет,  
Но заслужил я себе славы добрыя,  
Славы добрыя, чести-милости.  
Не видал я дней веселых,  
А всегда я был во кручинушке.  
Без резону он всегда гневался,  
Без вины он нас наказывал,  
Он наказывал нас все палочьем,  
А после того под караул сажал,  
Под караул сажал, на хлеб, на воду.

Заставлял рабовать в веленом саду,  
 По прешп хтам березовым,  
 По дорогам веленым.  
 Что к пали мы пруды глубокие,  
 Огораживали двory птичные.  
 Запретил он нам по ночам гулять,  
 По ночам гулять, в хоровод ходить,  
 Закавал он нам и пьянствовать;  
 Сего я от роду не знал, и за то я присягу кривил.  
 И тому князь вспылчивый не уверился.  
 Уж он стал склонять во масонию,  
 Во масонию—веру проклятую.  
 И за то меня хотел жаловать:  
 Он давал мне платья цветные,  
 Награждал меня золотой казной,  
 И он сим прахом не прельстил меня,  
 За которое беззаконие он прогневался,  
 Посадил меня на круглый стул,  
 Надел на меня ожерелочек,  
 Еще сквал мне ноги скорые,  
 И ги скорые, руки белые.  
 И хотел меня наказывать.  
 И того мне не случилось:  
 Все ж лезцы с меня свалилися,  
 Ожерелочек с меня и так скочил,  
 Что с того время я гулять пошел,  
 На чужую дальну сторону,  
 Что во ту ли землю шведскую,  
 В которой жил я ровно два года.

В начале XIX века отношение к представителям «крестьянской интеллигенции», как мы видели, несколько меняется. Но обычная печальная участь этих ранних поэтов от сохи ярко свидетельствует о невозможности для них открыто и всецело отдаваться своему призванию в тогдашних жестоких социальных условиях. Приходится только изумляться, как в мрачной обстановке императорской России могли все же пробиваться эти первобытные дарования, чьи голоса через столетие, заглушенные и обессиленные, все же доходят до нас, волнуя до сих пор своим выстраданным тоном.

Насколько сильна была в этих социальных отверженцах воля к труду, вниманию и творчеству—свидетельствует любопытный случай с крестьянским мальчиком села Лопасни—Петром Борисовым. Известный поэт И. И. Дмитриев сообщает в своих письмах о неожиданном посещении его деревенским подростком.

«Недавно у нас явился поселянин-стихотворец. Одним утром пахожу я в моей прихожей,—пишет он в 1826 г.,—белокурого мальчика около 16 лет, в нагольной овчинной шубе. На вопрос мой, что ему надобно?—«Я желаю учиться словесности», отвечал он, «и пришел просить вашу милость, чтобы вы доставили мне к тому случай».—Учиться грамоте?—«Нет. Я уже знаком с нею, а словесности».—Почему же ты попал ко мне? Ведь я не управляю училищами.—«По вашим сочинениям».—А знаешь ли ты Ломоносова?—«Как же не знать».—И Сумарокова, и Хераскова, и Державина, и Жуковского?—«Да, я уже перечитал книгу до тысячи».—Кто же ты таков?—«Я сын экономического крестьянина из села Лопасни, в 35 верстах от Москвы. Вчера привез сюда сестру мою. Она здесь в замужестве, и у нас гостила».—У кого ты учился

грамоте?—У нашего дьякона, обучавшего на Перерве.—А где имел случай доставать книги?—У нашего крестьянина. Он большой охотник до чтения и по достатку своему накопил множество книг всякого рода.—Не пытался ли ты сам сочинять?—«Как-как пишу».—Прозою?—«И стихами, зная только две меры: хурей и ямба».—Что же писал?—«Всячину. А вот недавно я написал стихок «Эхо», а прозою «О любви к отчизне».

Вот моя с ним первая встреча»...

Мы немного знаем об этом Пэтре Борисове, но и скудные сведения о нем раскрывают нам поразительную картину влечений этого крестьянского мальчика к словесной культуре. Современники сообщают нам, что почти незнакомый с правописанием и «правилами пиштики» Борисов отличался чрезвычайной начитанностью, писал стихи легко и быстро «единственно по внушению своего гения», сумел даже усвоить «замашку Ломоносова» и с подлинной любознательностью поэта «горел желанием учиться». Сохранилось поразительное свидетельство одного современника:

«Он весьма жаждает учиться по-итальянски для того, чтобы читать в подлиннике Пэтракку и Тасса, знакомых ему по переводам русским»...

Таков был этот неведомый подросток из села Лопасни. Его ли вина, что имя Петра Борисова не дошло до нас в окружении литературной известности?

## VII.

Жутки были судьбы крепостного искусства в России. Еще не собраны и не разработаны в цельной исторической картине те потрясающие эпизоды из жизни подневольных артистов, которые превращают историю ранних русских художников в сплошной мариолог. В этом отношении все биографии поэтов-самоучек сходны. Последователи Слепушкина в начале столетия своими заключениями сходятся с первыми учениками Кольцова. Рядовой Белкин, крестьяне Иван Кудрявцев или Григорий Бубнов, наконец представители позднейшей деревенской поэзии—одинаково отмечены этим тяжким клеймом социального гнета, и творческой подавленности. Все они осуждены при несомненных дарованиях и литературной энергии на общую плачевную участь бесчисленных художников крепостничества, причастных своими замыслами и трудом к истории русского искусства, но лишенных признания современников и славы в потомстве.

Крепостные поэты—далекие и одинокие предтечи. Они должны были появиться и незаметно пройти по жизни, чтоб подготовить путь другим, сумевшим расковать стихию народного песнетворчества и преодолеть ее первые робкие мотивы.

Эта подавленная, униженная, поистине «кнутом иссеченная муза» открывала пути иным, более счастливым деятелям слова. Первые печатные выступления сельской плеяды промелькнули и погрузились в забвение. Поднималась новая волна крестьянского творчества:

О, Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь,  
С иными именами  
Встает иная степь.  
По голубой долине

Меж телок и коров  
Идет в златой ряднине  
Твой Алексей Кольцов.

Как бы ни отличались эти звучные строфы Есенина от первых робких опытов крепостного творчества, нужны были примитивы Алипановых и Сибиряковых, чтоб через столетие полными голосами зазвучали песни олонецких, рязанских и тверских крестьян. Нужны были эти стоны «берлых хслопов», «дворовых людей», денщиков, кондитеров, плотников или помещичьих мастеровых, чтоб словесное искусство, идущее из самых недр народного сознания, поднялось в следующих поколениях, и развернулось, наконец, во всю свою безбрежную ширь.

Нужны были эти сельские идиллии, бытовые картинки и любовные жалобы, чтоб творчество старой деревни и крепостного завода окрепло и выпрямилось во весь свой рост, захватывая новые обширные, мощные и вдохновенные темы. От одиноких и безвестных крестьянских лириков XVIII века, через плеяду поэтов-самоучек 20-ых годов, оно разворачивается теперь в огромном плане всенародного искусства. И в этот момент его расцвета становится ясным, что забытая «школа Слепушкина» подготовила возглас нашего современника Клюева о песенном крестьянском творчестве его поры:

Умрут Кольцовы-одиночки,  
Но не лесов и рек молва...

Поэзия народа уже превратилась в стихийный поток, в подлинную «молву» целого поколения. Эти живые голоса природных просторов или же городских верфей и машин наполняют нашу эпоху бодрящим гулом и отзвуками новой жизни. Богатство образов, словарное изобилие, стихотворное мастерство, звуковое и красочное разнообразие поэтов освобожденной России открывают новую эру в развитии русского художественного слова. Поэзия машин и заводов уже разлилась «от Байкала до теплого Кумыа» широким и плодоносным разливом, отражая во всем ее героическом под'еме и мощной образности свою великую и бурную современность.

Нам показалось справедливым оторваться на мгновение от этого живого и могучего течения, чтоб обратиться сквозь дебри десятилетий—к его далеким и забытым истокам.

ЛЕОНИД ГРОССМАН.

# Искусство СССР и национальный элемент.

*А. Тугендхольд.*

**В** художественной жизни каждой страны есть две противоборствующих силы. Первая—это чисто народная и местная традиция, несущая в себе все своеобразие данной части населения; это то—что отличает один народ от другого. Вторая—это вкусы столицы, вкусы метрополии, все более и более равняющиеся на космополитический лад. Чем более столица возвышается над остальной страной, тем скорее эта вторая сила побеждает первую, тем скорее в художественной жизни берут верх космополитические нормы.

Разумеется, интернационализм, создание общечеловеческой культуры—это наш идеал, идеал революционной части человечества, желающей положить конец национальной розни, национальным предрассудкам, всегда заряженным искрой войны. Но было бы карикатурой на коммунизм представлять себе это чаемое нами будущее в виде стада одинаковых, одинаково живущих и одетых людей. Интернационализм вовсе не означает собою торжества космополитического шаблона над гением местности (*genius loci*), который всегда таит в себе творческое начало, обусловленное специфическими возможностями данного края. И действительно, мы видим, что с гипертрофией городской цивилизации искусство утрачивает свою народную свежесть—подобно дереву, верхушки которого правильно выравниваются садовником, а корни начинают сохнуть от недостатка земных соков.

Именно на этой почве в европейском и особенно во французском искусстве с конца XIX века и началась реакция против академической монотонности и возникло страстное стремление вернуться к «истокам»—к народному, примитивному и даже архаическому искусству. Разумеется, в этом движении было немало снобизма и модничания, но было и здоровое зерно: сознание кризиса буржуазной культуры и глубокая неудовлетворенность ею. Достаточно напомнить Поля Гогена, бежавшего из Парижа на Таити, и всю его школу, которая восстановила, реабилитировала в глазах парижан одновременно права на существование первобытной красоты Полинезии и Бретани. Маорийские идолы, бретонские тарелки, народные лубки Эпиналя, ткани Марокко и Алжира—все это вошло в современную французскую эстетику (напр., в живопись Матисса). В этой реакции против рафинированности стилей, в этих поисках освежающих источников и смелых экспериментов

средств, европейское искусство самым откровенно-эклектичным образом обращается теперь за вдохновением повсюду, как пчела, собирающая мед: и к неграм Африки, и к скульпторам Мексики, и к другим полузабытым и колониальным народам...<sup>1)</sup>

И, однако, во всех этих поисках повсюду обращает на себя внимание один и тот же факт: современная империалистическая цивилизация оставляет на земном шаре все меньше и меньше этих оазисов фольклора, этих остатков творческой девственности. Столица нивелирует провинцию; метрополия нивелирует колонии. В провинции—сказывается боязнь не отстать от моды, свойственная всем мешанам. В колонии умираяню туземного искусства способствует не только импорт этих товаров больших магазинов, но и отрицательная деятельность господ миссионеров и учителей имперских школ. Что касается негоциантов, то достаточно указать хотя бы на тот вред, который принесли прекрасному ковровому искусству русской Средней Азии дешевые анилиновые краски, продававшиеся там германскими и французскими комиссионерами; а о деятельности среди туземцев миссионеров и учителей читатель знает по таитийскому дневнику Гогена или роману Р. Морана «Батуала».

Старая Европа (особенно Великобритания) умеет выкачивать художественные редкости и «курьезы» из самых отдаленных местностей земного шара, умеет прятать их в роскошных столичных музеях, умеет заимствовать негритянские мотивы и танцы для своих ночных кабаре,—но она совершенно не умеет поддерживать живое развитие этого бедного туземного искусства на местах, будь то в Африке или Индии.—это ее интересует мало! Ибо национальная политика Европы—это политика обезличивающая, политика великодержавная<sup>2)</sup>.

Молодая советская Россия находится в этом отношении в более счастливых условиях. Ей не приходится в целях омоложения искать вдохновения в глубине веков или на стороне—она имеет у себя свою живую Полинезию, свою Африку и Мексику, свой многокрасочный Восток. Это—то примитивное *народное творчество*, которое в России, как в стране по преимуществу крестьянской, сохранилось в гораздо большей степени, нежели в странах Запада с их индустриальной цивилизацией. Более того—это то *племенное и национальное многообразие*, которое делает из искусства СССР богатейший букет самых разнообразных цветов, каждый—со своим «местным колоритом». Недаром СССР занимает одну седьмую часть всей суши, числит до 134 миллионов населения и объединяет сотни различных крупных и мелких национальностей—от жителей крайнего севера до тюрков Средней Азии.

Искусство СССР и представляет собою картину сотрудничества различных национальностей. Каждое племя, каждая народность имеют в этой клавиатуре свой звук. Отсюда именно изумительное разнообразие форм, орнаментов,

<sup>1)</sup> Скажем откровенно: отчасти в этом же плане находились до сих пор и увлечения европейского общества русским искусством, как, например, «варварской сочностью» русской музыки или «экзотической красочностью» Рериха и Бакста.

<sup>2)</sup> Для историка и социолога искусства было бы чрезвычайно интересной задачей проследить связь между развитием «экзотич. стилей» вкусов Европы и развитием ее колониально-завоевательной политики—эти параллели показавали бы, как европейские исканья в Азию и Африку влекли за собой вместе с трофеями и те или иные экзотические вкусы у победителей.

колорита, материала и техники этого искусства. Оно охватывает всевозможные отрасли художественной продукции—резьбу по дереву, кости и камню, чернь, инкрустацию, филигрань и эмаль, кружева, набойку, вышивку и ковровое дело, керамику и металлическое литье. Оно переливается всеми цветами радуги—от нежно-лирической гаммы украинских ковров до яркого сладострастия шелковых шалей Азербейджана и багрово-красной палитры среднеазиатских ковров. Оно играет всем разнообразием орнамента—цветочного, растительного, животного, фигурного, предметного, геральдического, геометрического.

Вот Украина с ее чудесными коврами—«килимами» и своеобразной керамикой; вот Крым с его тонкими вышивками и золотым шитьем; вот Татарская республика с ее кожаными и ювелирными изделиями; вот Кавказ с его азербейджанскими и дагестанскими коврами и паласами, с его шелками и металлическими изделиями; вот Средняя Азия с ее знаменитыми ткацкими, ковровыми и вышитыми произведениями, где чуть ли не каждое племя имеет свой собственный рисунок ковра, свою собственную «розу» («гюль»); вот русский север с его тончайшей деревянной и костяной резьбой. Какое бесконечное разнообразие предметов, их разновидностей, их бытовых названий, практических назначений, технических терминов!

И, однако, во всей этой пестроте есть нечто общее, закономерное, целесообразное. Между искусствами отдельных национальностей, входящих в состав СССР, неизмеримо больше общего, нежели между искусством Англии, Ирландии и Индии, или Австрии и Галиции (которой первая навязывала свой венский шик). Это общее—прежде всего общая *восточная* основа искусства СССР. Вся эта художественная промышленность продиктована большим декоративным чувством, присущим народам СССР и заставлявшим их украшать свой трудовой быт вплоть до малейших мелочей обихода. Для этого мудро и экономно употреблялось все то, что было под рукой, что давали естественные условия края—от мешочного холста, войлока, бересты, моржевой кости, шкуры, меха, птичьих чучел, вплоть до шелка, шерсти, золота и парчи. Эта связь искусства СССР с его бытом сообщает ему своеобразную утилитарность. Перед нами искусство, созданное народом земледельцев, кочевников, охотников или рыболовов—для самого себя, а потому и отвечающее его нуждам, будь то вышитые «ишиги» (сапоги) казанских татар, разноцветные плахты украинских женщин, переметные сумки кавказцев или ковры кочевников Средней Азии. Великолепные восточные ковры, бывшие в Персии придворно-аристократическим искусством, являются в Средней Азии искусством чисто-народным, созданным женщинами-ткачихами для своей кибитки, для своего кочевого дома-шатра; вот почему они более наивны, более примитивны и более говорят нашему современному сознанию, нежели драгоценные ковры Персии.

Искусство СССР—это искусство, вышедшее из самих пародных недр различных национальностей, и это двоякое—*народное и национальное*—происхождение и сообщает ему его примитивный свежий колорит. Заложенные в нем элементарные, а потому и глубокие, чувства выражены на языке, полном ритма и экспрессии. Это—задумчивость и юмор Украины, героическая суровость горного Кавказа, страсть к природе и зверю северян или медлительная напевность Средней Азии.

В каком же положении находится эта художественная культура СССР, унаследованная от прошлого, в настоящее время? Каковы ее перспективы? Мы убеждены, что эти перспективы—благоприятнее, чем раньше.

Народности СССР не ссорятся между собой, как ссорились еще недавно народности императорской Австрии, или как они резали друг друга, в буквальном смысле слова, в императорской России.

Эта старая Россия не только ничего не делала для развития национального элемента в искусстве, но, наоборот, делала все возможное, чтобы задуть его в области языка, школы, театра. Царский режим преследовал все нации за исключением, пожалуй, одной—русской: его национальная политика была политикой насильственной руссификации. Тюрьма народов—вот правильное название этой рухнувшей российской империи. И, тем не менее, ее трудовое население пронесло свои творческие силы через все рогатки старого режима—вплоть до того момента, когда разразилась освежающая гроза Октябрьской революции.

Я говорю «освежающая гроза», потому что, вопреки всем росказням о «большевистском империализме», это именно Октябрьская революция провозгласила впервые братство и равенство народов без деления их на высшие и низшие—вплоть до уничтожения самых слов «инородцы» и «туземцы». Это она первая дала всем народам, населяющим старую российскую империю, право на национальное самоопределение: свое управление, свой язык, свою школу. Более того—это она утвердила свободное культурное развитие и тех национальных меньшинств и этнографических групп, которые не имеют даже своей определенной территории. Достаточно сказать, что свое национальное самоуправление получили даже такие народности, как башкиры, буряты, чуваша, якуты, считавшиеся раньше кем-то вроде варваров, или привести тот факт, что на одном Кавказе выделилась в отдельные национальные единицы масса таких народностей, о существовании которых раньше никто и не знал. Но—что особенно важно—это национальная политика СССР на Востоке, где старая Россия была первым сатрапом, и где она теперь является другом и учителем. Как раз недавно закончилось новое национально-государственное размежевание русской Средней Азии, в результате которого из бывших колоний российской империи образовались две новые большие советские республики—Узбекская и Туркменская.

Так возник СССР—свободный союз свободных наций, которые при старом режиме ненавидели друг друга, а теперь мирно сотрудничают во имя общего культурного развития. Так прежняя политика национального гнета сменилась в ленинской России свободнейшей в мире национальной политикой, политикой децентрализации.

В такой же степени, в какой старое русское правительство заинтересовано было в темноте своих подданных, нынешняя власть заинтересована в просвещении отдельных народностей. Многие из них впервые из ее рук получили свою письменность, свои буквари и учебники на национальных языках (напр., мордва, остяки, кабардинцы, калмыки и др.). И если при старом режиме даже этнография находилась под надзором охранки, как опасная наука, то теперь мы наблюдаем повсюду и в центре России, и на ее окраинах рост краеведения, ставшего родным делом интеллигенции каждой национальности СССР. Революция не только не принесла с собой вандализма по отношению к старине

и искусству, но, наоборот, после нее интерес к памятникам старины и искусства необычайно повысился. Наиболее ценные архитектурные памятники СССР находятся под охраной центральной власти, т.-е. Москвы, остальные—под опекой власти на местах. Целый ряд древних памятников, которые угрожают разрушением от ветхости, уже реставрируется (как, напр., замечательный минарет Улуч-Бек в Самарканде или отдельные части Кремля в Москве). В целом ряде мест производятся раскопки (Крым, Кавказ и т. д.). Наконец, организован и целый ряд музеев в самых отдаленных местах СССР, где раньше об их существовании нельзя было и думать; это—музеи местной культуры, местных находок, местных художественных промыслов. В качестве особенно выдающегося явления в области познания СССР надо указать на новый громадный этнографический отдел в бывшем музее Александра III (ныне—Русском музее) в Ленинграде и на новый Центральный музей народоведения в Москве, устраиваемый в виде этнопарка, по образцу стокгольмского парка. Разумеется, это еще далеко не все то, на что способна и что должна сделать Советская Россия, как защитница угнетенных наций, а, в частности, народностей Востока. Нам мыслится именно в центре Советской России будущий громадный музей национальных культур, в особенности—всех культур восточных народов. Это будет не империалистический и «имперский» музей Британии, это будет музей освобождающихся народов, которые только в Советском Союзе находят свою опору и защиту.

— Хорошо, скажет читатель, но все это область истории, а—живое искусство народностей? Не суждено ли ему погибнуть в условиях новой России? Нет, и в этом смысле СССР делает усилия,—пока еще медленные,—для того, чтобы сберечь и развить творческие дарования населения, их национально-народные промыслы. Эти народные художники СССР—резчики, гончары, ковровщицы, вышивальщицы и т. д. вполне сохранили свои художественные навыки, свою артистическую традицию. Каким-то чудом, несмотря на тяжелые годы войны, разрухи, голода и особенно иностранной блокады, *народная художественная промышленность СССР жива*. Сбор экспонатов для международной Парижской выставки дал в этом смысле весьма утешительные результаты. Нашей художественной промышленности не достает только рынка для сбыта и некоторых материалов. Предпринятая Госпланом система деления России на экономические районы соответственно их производственным данным (дерево, ископаемые, шерсть и т. д.) обеспечит впредь *планомерное* развитие местных художественных промыслов. В целях же дальнейшего их развития советская власть устраивает, насколько позволяет ей скромный бюджет, художественно-промышленные школы и техникумы на местах. Так, в старинном Бахчисарае существует школа для татар, в Баку—для тюрков, в Средней Азии, в далеком Асхабаде, молодые туркмены и сарты изучают во вновь устроенной школе свои старинные ковровые орнаменты; предполагается к открытию до 5 школ и для женщин-ковровщиц. Разумеется, всего этого совершенно недостаточно для поддержания национального творчества на местах—здесь нужны школы, школы и школы. В этом отношении мы не должны забывать, что эти школы на местах—не блажь, что они сулят нам сбережение той громадной «валюты», каким является искусство народностей СССР, имеющее все больший и больший успех, как предмет экспорта, на зарубежных ярмарках и выставках.

Но культура не может и не должна застыть на одном месте. Совершенно очевидно, что с приобщением отсталых народов к советской государственности, с необычайным ростом среди них жажды к знанию, из жизни этих народов мало-по-малу исчезают религиозные предрассудки, фанатические обычаи и темные нравы, в частности, особенно тяжело сказавшиеся на положении женщины. И мы присутствуем уже при интересном процессе вращивания нового быта в старый, традиционный быт. Растет новый Восток, быть может, менее экзотический и чувственно-таинственный, нежели Восток Бакста и Риха, Восток русского балета,—но зато более сознательный и гражданственный. Ковры, употреблявшиеся раньше для домашних и религиозных надобностей, все более и более фигурируют в городах Средней Азии и Кавказа, как декоративный элемент публичных политических празднеств. Женщина-мусульманка перестает герметически укутывать свое лицо чадрой (шалью)—она носит ее уже, как платок. А если эта освобождающаяся женщина Востока уже не пожелает теперь просиживать годы и месяцы над тканьем одного ковра—то этого бояться нечего: ей на помощь придут усовершенствованные орудия техники, которые мы должны ей дать; это должно и удешевить ее производство. Вопрос о том, как примирить сохранение этого народного и национального элемента в искусстве с индустриализацией СССР, столь необходимой нам,—вовсе не столь роковой вопрос. Мы уже не испытываем той боязни машины, которую испытывали буржуазные эстеты вроде Рескина и Морриса—эти романтики средневековья.

Мы видели, что искусство СССР всегда целесообразно отвечало данному материалу, данным потребностям. И оно найдет в себе достаточно эластичности, чтобы в будущем отвечать новым *потребностям, новым формам быта.*

Более того, мы уже можем отметить, что искусство национальностей СССР, вполне сохраняя свою исконную традицию, в то же время уже оплодотворяется и новыми впечатлениями, новыми мотивами, новыми темами. В этом отношении многие из экспонатов, полученных с мест для Парижской международной выставки, уже свидетельствовали о начавшемся сдвиге. Этот сдвиг происходит не по чьему-нибудь заказу, но совершенно естественно и органично—так же, как некогда античное искусство трансформировалось в искусство христианское. Эту трансформацию, происходящую под влиянием революции, мы видим понемногу повсюду. И в искусстве великорусских иконописцев, сменяющих религиозные сюжеты на образы Красной армии, и в росписи украинской посуды (Межигорье), и в войлочных коврах Крыма, и даже в косяжной резьбе народностей Севера (остяков), создающих шахматы «борьба белых с красными» или портсигары и трубки с серпом и молотом.

Этот серп и молот, советский символ единения города и деревни, становится, таким образом, и символом братского сотрудничества народов СССР—вместо того двуглавого орла, который терзал их направо и налево.

Я. ТУГЕНДХОЛЬД.

# Рак, теория его происхождения и его лечение.

Проф. М. И. Немцова.

**Р**ак относится к самым старинным и страшным врагам человеческого рода. Принимая во внимание, что эта болезнь не падает даже животных и растений, можно думать, что болезнь эта существовала еще тогда, когда человек стоял на ранней ступени своего развития. Во всяком случае в самых старых дошедших до нас рукописях имеются уже указания на раковые заболевания.

Раковая болезнь начинается местно, и некоторое время, если болезнь не поражает поверхности кожи, протекает незаметно. В этой стадии заболевания, которую чрезвычайно редко приходится наблюдать, распознавание возможно лишь при помощи микроскопа. В это время можно установить, что эпителиальные клетки начинают разрастаться, переходя нормальные свои границы. Они начинают прорастать соседние здоровые ткани, сдавливая и уничтожая клетки последних. Так сорная трава, обладая безудержным ростом, оттесняет и уничтожает культурные растения.

Раковые клетки при исследовании под микроскопом ничем не отличаются от нормальных эпителиальных клеток, от которых они произошли, они обнаруживают лишь признаки быстрого размножения.

Организм, чья смертельную опасность, мобилизует все свои защитительные средства. Он старается отгнать свои здоровые части барьером из соединительной ткани, которая стремится прорваться сквозь ряды раковых клеток. Но, увы, защитных средств организма не хватает против бесчисленной рати раковых клеток. Они прогрессивно размножаются и вскоре образуют видимую простым глазом раковую опухоль. Но и в это время опухоль обычно ускользает от наших глаз, если она глубоко расположена.

Иногда раковая опухоль дает себя чувствовать уже довольно рано. Так, например, рак пищевода уже рано дает о себе знать благодаря затруднению при проглатывании пищи. Опухоль мозга, еще будучи небольших размеров, благодаря давлению на чувствительные соседние ткани и благодаря своему положению в костной не расширяющейся коробке черепа или спинно-мозгового канала, может рано давать симптомы. Но в большинстве случаев опухоль

увеличивается незаметно. Раковая опухоль помимо местного разрушения тканей постепенно отравляет организм выделяемыми ею ядовитыми продуктами. Между тем опухоль сама, особенно если она близко подходит к поверхности кожи (рак грудной железы) или слизистой (рак желудка, матки, кишек) частично омертвевает, распадается и образует зловонные язвы. Прорастая в кровеносные сосуды, опухоль дает кровотечения. Все это еще больше истощает больного; доводит его до страшной худобы и малокровия.

Но уже до этого раковые клетки, обладая неистощимым ростом, попадают в кровеносные и лимфатические сосуды и разносятся по всему организму, оседают в различных органах, образуя вторичные опухоли-метастазы. В этом периоде при современном положении медицинской науки всякая помощь бессильна. Больные погибают при страшных мучениях, заживо разлагаясь.

Рак—болезнь не редкая. Если мы обратимся к статистике довоенного времени, то увидим, что цифра смертности от рака во всех крупных государствах земного шара и в крупных городах России равна в среднем 1 : 1000. Иначе говоря, на 1000 живых ежегодно от рака умирает один человек.

По данным Вассермана на 10 умерших старше 30 лет приходится один умерший от рака.

В Швейцарии на 100.000 жителей умирает ежегодно 130 человек, в Норвегии—110, в Англии—86 человек, в Соединенных Штатах—70, в Варшаве—100 челов., в Москве—95, в Петербурге—92 человека.

Уже до Европейской войны статистика отмечала значительный рост смертности от рака.

Статистика послевоенного времени показывает еще большее увеличение смертности от рака. Особенно сильно увеличилась смертность от рака в Дании, Америке и Англии. В СССР по данным Наркомздрава (Звоницкий) ежегодно погибает от рака 150.000 человек, из них 135.000 в возрасте 20—64 года и 95.000 в возрасте 20—54 года. Чаще всего наблюдается рак желудка, затем рак матки, рак пищевода, рак груди. Цифры эти сильно всполошили общественное мнение и органы здравоохранения Европы. Всюду вопрос о борьбе с раковыми заболеваниями получает актуальное значение.

До сих пор еще распространено мнение, что рак поражает исключительно лиц преклонного возраста, во всяком случае не моложе 40 лет. Однако уже статистика Архангельского за период времени от 1903 до 1912 года показывает, что в Москве умерло от рака в возрасте от 1 до 40 лет 13,25% всех умерших от этой болезни, а от 40—50 лет—22,75%. Новейшая Европейская статистика отмечает вместе с увеличением общей смертности от рака рост количества лиц, умерших от этой болезни в возрасте моложе 40 лет.

На основании своего собственного опыта я тоже могу отметить значительный процент больных раком в возрасте от 20 до 30 лет.

Что же является причиной этой ужасной болезни, уносящей в могилу миллионы людей, нередко в цветущем возрасте? Увы, наука до сих пор еще не может сколько-нибудь удовлетворительно на это ответить. Существует ряд гипотез о причине возникновения рака у человека. Из этих гипотез наиболее известны гипотезы *Конгейма* и *Рибберта*, с одной стороны, и теория *Вирхова*—с другой.

По теории *Конгейма* опухоли, в том числе и злокачественные, заложены в организме еще во внутриутробной жизни в виде эмбриональных клеток,

попавших в ткани на неприсущее им место. Под влиянием различных причин эти зародышевые клетки начинают разрастаться, образуя опухоли.

*Рибберт* видоизменяет эту гипотезу, считая, что кроме того под влиянием травмы или воспалительного процесса нормальные клетки могут освободиться из связи с другими себе подобными, приобрести самостоятельность и способность к бесконечным размножениям. Таким образом дополненная *Риббертом* теория *Конгейма* являлась наиболее принятой.

*Вирхов* считал, что рак происходит из нормальных тканевых клеток, которые побуждаются к атипическому безграничному росту всевозможными раздражителями. Для доказательства *Вирхов* приводит целый ряд наблюдений, которые показывают, что хроническое раздражение может явиться причиной образования раковых опухолей. Так, рак, как профессиональная болезнь, наблюдается у рабочих анилинового, парафинового и других производств, у трубочистов и других рабочих, имеющих дело с сажей, с каменно-угольной смолой и т. д. У лиц, курящих трубку, наблюдается рак губы и т. д.

Наконец, нужно еще упомянуть о паразитарной теории рака, сторонники которой считают, что рак вызывается специфическими микроорганизмами. Много таких микроорганизмов было открыто и открывается еще теперь, но ни один из них не является причиной рака.

За последнее время теория раздражения *Вирхова* получила значительное подкрепление.

Японцам *Ямагива* и *Ишикава* (1921 г.) удалось путем хронического смазывания кожи кроликов и белых мышей получить у этих животных раковые опухоли. Для этого животных приходится смазывать дегтем в течение нескольких месяцев.

На коже животных вначале появляются разрастания эпителия неракового характера, которые впоследствии переходят в рак, даже и в том случае, если смазывание дегтем прекратилось.

Широко поставленные в этом направлении опыты в Государственном Рентгенологическом Институте полностью подтвердили сообщенные *Ямагивой* и *Ишикавой* факты.

Получаемые таким образом опухоли представляют собой типичные раковые новообразования кожи, дающие метастазы во внутренние органы.

В коллекции Рентгенологического Института имеются сотни животных, заблестивших и погибших от экспериментального рака.

За самое последнее время профессор *Фердинанд Блюменталь* в Берлине открыл в гное раковых больных бациллы, при помощи которых ему удалось вызвать образование опухолей у растений и животных (крыс). Однако эти опухоли появляются лишь тогда, когда впрыскивание бацилл производится во взвеси вместе с инфузурной землей. Это заставляет думать, что здесь главную роль играет опять-таки раздражение.

Благодаря любезности профессора Блюменталья, подарившего мне двух зараженных таким образом крыс, мы в Рентгенологическом Институте получили возможность культивировать эти опухоли, пересаживая их от животного к животному.

Исследования, произведенные профессором *Шором*, показывают, что опухоли эти отличаются по своему строению от типичного рака.

За теорию раздражения говорят также сделавшиеся известными за последнюю четверть века многочисленные случаи заболевания раком кожи и смерти от этой болезни рентгенологов. Здесь роль раздражителя играют многочисленные и слабые освещения рентгеновыми лучами, которым, в силу своей профессии, подвергаются лица, постоянно с ними работающие.

Такие случаи заболевания и смерти от рака рентгенологов считаются уже сотнями. Особенно много их было в первые годы после открытия рентгеновых лучей, когда не принимались защитные меры.

И теперь еще на каждом съезде рентгенологов можно встретить врачей с ампутированными по поводу профессионального рака пальцами или даже целой конечностью. Недавно погиб от этой болезни крупнейший германский рентгенолог *Альбер-Шенберг*, и еще в этом году от той же болезни умер известный французский рентгенолог *Бергонье*.

Является ли одно только раздражение причиной возникновения рака, или же здесь играют роль и другие факторы, пока не установлено. Я лично склоняюсь к тому мнению, что помимо раздражения играют еще роль причины общего характера: известная склонность, восприимчивость к раковому заболеванию. Эта склонность может быть обусловлена повреждением каких-либо внутренних органов (органов внутренней секреции), наследственной восприимчивостью к раку и т. д.

Что наследственность играет при раке известную роль—это мнение довольно распространенное. Так мы часто наблюдаем заболеваемость раком среди членов одной и той же семьи, при чем заболевание часто касается одного и того же органа (пищевод, желудок, матка).

Американская исследовательница *Мод Слей* изучала наследственность рака у мышей на многих тысячах поколений. Она приходит к заключению, что наследственность, несомненно, является важным предрасполагающим моментом при заболевании раком.

Само собой разумеется, что с тех пор, как человек научился сознательно бороться со своими болезнями, все внимание его было обращено на лечение раковой болезни, но нельзя сказать, чтобы тысячелетние усилия человеческой мысли до сих пор увенчались бы полным успехом:

Лекарственное лечение раковой болезни является абсолютно беспечным. Нет таких внутренних лекарств, которые хоть сколько-нибудь помогали бы при раке. В настоящее время имеется два метода лечения, конкурирующих друг с другом. Это хирургический метод и лечение рентгеновыми лучами и радием.

Главными условиями для хирургического лечения рака являются: 1) доступность для хирурга органа, который поражен раком; 2) ранняя стадия заболевания, когда опухоль еще не перешла на соседние органы и, главным образом, когда она не дала еще метастазов (метастазов) в отдельные части организма.

Нередко в ранней стадии заболевания хирургу приходится беспомощно стоять перед больным, т. к. пораженный орган является недоступным. Так почти совершенно исключается возможность операции при раке грудной части пищевода. Из многих сотен попыток оперировать в этой области только одна увенчалась успехом и больная перенесла операцию. Точно так же часто опухоли мозга недоступны операции благодаря своему положению. Есть много

областей, которые хотя и являются не абсолютно недоступными, но операции в которых дают такой ужасающий процент смертности, что их можно считать недоступными. Сюда, например, относится средостение, легкие и рак легких считается болезнью неоперативной. Еще чаще хирург не может ничего предпринять потому, что болезнь зашла слишком далеко и производить операцию является бессмысленным, так как всей опухоли удалить невозможно; если же остается хоть ничтожная часть ее, то прежде, чем больной встанет с постели, она вырастет снова.

Особенно у нас, в СССР, благодаря малой культурности, особенно деревенского населения, больные являются к хирургу слишком поздно. Отчасти, конечно, виновато в этом недостаточное количество в провинции хорошо образованных специалистов. Во всяком случае, процент больных раком, которых хирург может с надеждой на успех оперировать, сравнительно незначительный. Так, напр., по довоенным данным Обуховской больницы, лишь 18,14% всех больных раком матки могли быть подвергнуты операции. В западно-европейских странах процент этот больше, но все же сравнительно невелик. Так, проф. *Додерлайн* дает для Мюнхенской гинекологической клиники 33% женщин, больных раком матки, которые могли быть подвергнуты операции.

Но если даже операция возможна, то есть еще много грозного на пути ракового больного. Прежде всего первичная смертность от операции, которая в зависимости от области может быть очень большой. Далее, угроза возврата болезни, рецидива. Возврат болезни происходит оттого, что при помощи ножа часто не удается удалить всех элементов опухоли. Несколько раковых клеток уже может быть достаточно, чтобы наступил рецидив.

Рецидив может наступить и через много лет, но это бывает сравнительно редко. Обыкновенно рецидив наступает в первые два—три года после операции, и если он не наступает в течение пяти лет, мы в громадном большинстве случаев считаем больного излеченным.

Все же нужно отметить, что хирургия за последние десятилетия достигла очень многого в области лечения рака.

Лечение рентгеновыми лучами и радием основано, во-первых, на способности этих лучей проникать глубоко в ткани и, во-вторых,—на их свойстве, поглощаясь тканевыми клетками, вызывать гибель последних. При этом не все тканевые клетки одинаково чувствительны к действию рентгеновых лучей и радия. В то время, когда одни клетки гибнут от лучей,—другие не дают видимых изменений. Из этого следует, что наибольшего успеха при лечении злокачественных опухолей от рентгеновых лучей и радия можно ожидать тогда, когда клетки опухоли обладают большей чувствительностью к лучам, легче ими разрушаются, чем окружающие их здоровые ткани. Чувствительность раковых клеток к лучам сравнительно с чувствительностью нормальных эпителиальных клеток не очень велика, превосходя последнюю лишь немногим. Однако встречаются раковые опухоли, обладающие значительной чувствительностью. Раковая клетка погибает лишь тогда, когда она будет достаточно сильно освещена, но здесь мы встречаемся с большим препятствием: эпителиальные клетки кожи, обладая такою же чувствительностью, как и раковые клетки, могут при очень интенсивном освещении также пострадать,—может случиться воспаление и даже изъязвление кожи. И это тем легче может случиться, что кожа, будучи расположена поверхностно, всегда будет интен-

сивнее освещена, чем глубоко лежащая опухоль. Приходится поэтому применять ряд технических приемов, которые позволяют осветить глубокие ткани интенсивнее, чем каждый отдельный участок кожи.

Действие радия принципиально такое же, как и действие рентгеновых лучей, но радий во многих случаях является более удобным для применения, т. к. его легко можно вводить в полость органа, пораженного раком (в матку, в пищевод, в полость носа, в носоглотку и т. д.).

В некоторых случаях радий оказывает лучшее действие, чем рентгеновы лучи (рак языка) и, наоборот, — иногда при освещении больших участков показано применение рентгеновых лучей. Мы часто комбинируем радий с рентгеновыми лучами. Радий действует на глубину лишь в 3—4 сантиметра, и при опухолях, имеющих большую толщину, один радий часто оказывается бессильным. Однако и здесь в некоторых случаях имеется выход. Радий, заключенный в платиновые иглы, вводится в самую ткань опухоли и таким образом каждая игла действует в участке, имеющем радиус в 3 сантиметра. Эта техника, перешедшая к нам из Америки, имеет много преимуществ и особенно удобна тогда, когда в распоряжении имеется эманация радия.

Радий непрерывно выделяет из себя радиоактивный газ — эманацию. Эманация, распадаясь, испускает в свою очередь гамма-лучи, совершенно одинаковые с гамма-лучами самого радия. Разница лишь та, что радий, распадаясь в течение нескольких тысяч лет, испускает столько же времени и гамма-лучи. Эманация же имеет короткую жизнь и распадается в течение месяца и в течение этого же времени она испускает и гамма-лучи, сила которых постепенно ослабевает. Из раствора радия (для этого нужно большое количество его) при помощи очень сложных приборов добывается эманация радия. Последняя под давлением ртутных насосов загоняется в тонкую стеклянную, предварительно сделанную безвоздушной, трубочку. Трубочка эта вместе со стенками имеет толщину не более 0,3 мм., при чем в такую трубочку можно заключить очень большие количества эманации. Запаянные трубочки с эманацией, длиной в 2—3 сантиметра, вставляются в полые платиновые иглы, а затем втыкаются по определенному плану в опухоль, где они оставляются в течение определенного, точно рассчитанного времени (обыкновенно несколько дней).

Преимущества пользования эманацией очень велики. Лечение ею может производиться далеко от того места, где она добывается. Так, всю Францию снабжает эманацией Институт Кюри в Париже. Эманация скорыми поездами и на аэропланах доставляется в другие города.

Государственный Рентгенологический и Радиологический Институт в самом ближайшем будущем будет снабжать эманацией все лечебные учреждения Ленинградского Губернского Отдела Здравоохранения.

Рентгенологическая техника за последние годы также сделала огромные успехи: благодаря созданию мощных аппаратов, дающих напряжение около 300.000 вольт и так называемых электронных рентгеновых трубок (Кулиджа), сделалось возможным получать лучи, приближающиеся к гамма-лучам радия, и при этом очень большой интенсивности.

Лечению рентгеновыми лучами и радием могут подвергаться и такие больные, которые благодаря запущенности заболевания уже операции не подлежат. Однако и здесь имеются границы. Совершенно не подлежат лечению рентгеновыми лучами и радием больные, у которых имеются метастазы в орга-

нах, лежащих далеко от места первичного поражения. Кроме того нет надежды на успех при лечении больных очень истощенных.

Дело в том, что рентгеновы лучи и радий действуют не только местно, разрушая ткань опухоли; они еще вызывают реакцию всего организма, поддерживая борьбу последнего со злокачественной опухолью. Если силы организма окончательно истощены, никакое лечение рентгеновыми лучами и радием уже помочь не может. О способности организма к борьбе мы судим, между прочим, по результатам исследования крови.

Посмотрим теперь, каковы результаты, которые могут быть получены при лечении рака рентгеновыми лучами и радием. При лечении рака кожи, особенно поверхностных его форм, это лечение дает лучшие результаты, чем операция. 70—90% случаев могут быть излечены, при этом с поразительным косметическим эффектом, которого не может дать операция, особенно когда речь идет о раке лица. При этом нужно помнить, что очень часто излечиваются такие случаи, которые благодаря запущенности не могут быть оперированы. Далее блестящие результаты получаются при лечении рака матки. Здесь даже в случаях, где уже операция невозможна, может быть получено длительное излечение. У нас под наблюдением находится целый ряд таких больных, которые совершенно здоровы и работоспособны уже в течение 4—5 лет.

Вообще нужно сказать, что рак матки есть та область, где рентгеновы лучи и радий вышибли нож из рук хирурга.

Второй Всесоюзный Съезд Рентгенологов и Радиологов принял резолюцию, в которой он подчеркнул, что при лечении рака матки радий и рентгеновы лучи должны иметь предпочтение перед операцией.

Не так обстоит дело при раке других органов. Рак желудка, рак кишек должны пока, где только это возможно, подвергаться хирургическому лечению. При раке пищевода ничего не остается кроме лечения радием и рентгеновыми лучами. Здесь мы производим предварительную операцию, делаем отверстие (свищ) в желудке и через это отверстие вводим трубочку с радием в центр раковой опухоли, контролируя положение трубочки рентгеновыми лучами. При раке пищевода мы часто получаем улучшение. Полное излечение чрезвычайно редко.

Рак языка долго не давал сколько-нибудь хороших результатов ни после операции ни после лечения рентгеновыми лучами. С помощью радия получаются лучшие результаты.

В настоящее время, после того, как имеется возможность при помощи игл вводить в опухоль emanацию радия, здесь отмечаются гораздо лучшие результаты.

Нужно, однако, помнить, что при лечении радием и рентгеновыми лучами, так же как и при хирургическом лечении, лучших результатов можно ожидать тогда, когда болезнь еще не запущена, когда больной является к врачу специалисту в раннем периоде заболевания.

После того, как мы сделали краткий обзор тех сравнительно неутешительных абсолютно, но относительно больших результатов, которых медицина достигла за тысячи лет своей борьбы с раковыми заболеваниями, нам станет ясно, что только с открытием истинной причины раковых заболеваний, что только тогда, когда эти причины можно будет устранить, вопрос о лечении рака будет разрешен радикально.

В настоящее время, чтобы сделать результаты, получаемые от операции и от лечения рентгеновыми лучами и радием, более значительными, необходимо вести санитарно-просветительную работу среди масс, знакомить их с сущностью и ранними признаками раковых заболеваний, дабы они обращались к врачу при первом появлении этих признаков.

Нет никакого сомнения, что при этом условии ежегодно будут спасены от верной гибели десятки тысяч людей.

В тех немногих случаях, где причина рака нам известна, я говорю о вышеупомянутом профессиональном раке, органы здравоохранения должны принять самые строгие профилактические меры, состоящие в защите работников от постоянного хронического раздражения при выполнении их работы.

ПРОФ. М. И. НЕМЕНОВ;

# По Советской земле.

I.

## В глуши.

*Н. Колоколов.*

### Деревянный городок.

На окраине текстильной губернии приютился захудалый волостной городок. От железнодорожной станции тридцать верст плыли к нему розвальни среди полей, лесов, кустарников. Февраль упорно выдавал себя за март, наводнив по подложному паспорту дорогу. Серое небо сыпало тем, что мой попутчик называл—«вроде дождя». Это «вроде» было липко, мокро, мерзко и почти незримо.

Городок—деревянный. Большинство домов и домишек—сказы от ветхости. Показательным символом меж двух старых мещанских гнезд белеет новый забор. Забор, ограждающий от улицы—первое, с чего начал обыватель реставрацию своего уюта. Символичны в этом смысле и многочисленные собаки, с деловым и независимым видом рыскающие по всем направлениям по окончании рабочей ночи на чьих-то хозяйских порогах. За изгородью, в заснеженном огороде, разгуливает свинья, будто выпущенная сюда самим Гоголем со страниц «Миргорода». Не просто—свинья, а—свинья полосатая. Безукоризненное совершенство стиля!

Городок—мещанский. Живут здесь огородники—народ тихий. Летом из огородов густо пахнет луком. Нравы, так сказать, вегетарианские: когда некий приказчик местного ЕПО «задолжал» в кассу кооператива триста рублей,—он в погашение «долга» представил... двести пудов луку из собственных огородов! И здесь—стиль, доведенный до совершенства.

На большинстве домов остались от дореволюционного времени жестяные блинник страж. о-ва «Россия»—как некий талисман, ограждающий обывательские входы от огня революции.

Окрайну городка оживляют три кузницы. На одной из них вывеска гласит: «В. М. Кузнецов—Еврика». Под русско-греческой вывеской наирусский кузнец обтягивает железом дугу. И глазу, утомившемуся от созерцания новых и старых заборов и дореволюционных страховых талисманов, особенно приятно остановиться на верных и крепких движениях кузнеца.

Вывески же здесь вообще лгут.

Вот—несколько ценных советов приезжающим сюда:

Если у вас есть старые счеты с прокуратурой или угрозыском—бойтесь, как огня, вывески «Городской Совет», ибо в здании, украшенном этой вывеской, никакого совета нет, но зато есть—народный суд, следовательно и милиция.

Если прочтете на двухэтажном доме указание черным по красному—«Канцелярия фининспектора»,—то не верьте глазам своим, ибо фининспекторским именем прикрывается волисполком со всеми его отделами.

Городок—себе на уме. Он не любит сразу открывать свои карты. Зато сразиться в карты здесь любят. Без малейшего труда положить в карман кругленькую сумму—заманчиво. И неудивительно, что недавно здесь с успехом подвизались гастролеры, привезшие откуда-то своеобразную азартную игру—«конфетка». Охотников «попытать счастья» нашлось достаточное количество, и предприимчивые «конфетники» пожинали на местном базаре немалый денежный урожай. Но вот игрой заинтересовалась милиция и запросила у приехавших «вид на жительство». Тогда ответственный представитель гастролеров пред'явил больше, чем «вид». В руках милиции оказалась подлиннейший документ, в котором говорилось буквально, что такой-то «волисполком выдает настоящий патент 2-го разряда гр. Кузнецову на *практическое бросание конфетки*». Подписи. Печать. Все, как следует. Остается утешиться только тем, что милиция еще ни разу не сталкивалась с патентом «на практическую продажу самогонки».

Шесть дней в неделю городок непробудно тих. Только по понедельникам здесь многолюдно и шумно развертываются базары. С утра со всех концов волости с'езжаются мужики и днем на площади теснота, напоминающая Сухаревку. Но того, чем изстари славится городок—на базаре вы не найдете.

— Наша слава—лук да овчины,—говорит старожил.

И вот—лук на базаре мало, овчины отсутствуют вовсе. «Сапожник ходит без сапог». Всякий горожанин знает и открыто говорит, что торговля овчинами в местном масштабе ведется тайно, без патента. Но «свободные» (от налогов) предприниматели неуловимы, как вьюны, пска не заплывают в круг базарной площади. Спекулянты учитывают это и предпочитают крепко держаться потаенных глубин своих деревень и селений, где производятся обычно бесконтрольные сделки с кустарями.

И все же—на рынке лежит густая окраска кустарничества. Корзинки, кадки, санки, дуги, горшки обступают вас со всех сторон. Сорочинскую ярмарку напоминают выведенные на продажу лошади; только горилку здесь заменяет самогон, тайная продажа которого организована по базарным уголкам.

Но у самогона есть серьезных враг—пострашней, пожалуй, милиции.

Имя ему:

«Чайная-пивная ЕПО».

Его боевой клич:

«Распивочно и на вынос».

### Зеленый чай.

Если вы зайдете в пивную-чайную и спросите бутылку пива,—служащий протянет разочарованно-осуждающе:

— Одну-у?

Если вы здесь же, затребовав чаю, откажетесь вдруг от него и попросите полдюжины пива,—служащий расцветет и воскликнет восхищенно:

— Полдюжины?.. Вот это дело. А то чай-то бока размоет!..

Вам остается преклониться перед афористической мудростью и на всю жизнь твердо усвоить, что гораздо предпочтительнее, хватив пива, намать ребра ближнему тумачами, чем размывать собственный организм «китайской мерзостью».

— Это тебе не Китай!

Вот вдребезги пьяный дядя гремиг по столу кулаком и орет:

— Пи-ива-а!.. Жи-ива!..—а служащий чайной вежливо и терпеливо уговаривает его:

— Нельзя, Саша!.. Ну, нельзя же!.. Ну... Сашенька!..

Пьяный кроет матом вправо, влево и прямо перед собой, а служащий готовно-понимающе улыбается и все так же ласково повторяет:

— Нельзя, Саша!.. Ну, нельзя же!..

Это здесь называется внимательным отношением к покупателю. Пивного покупателя не уважить нельзя. Это—не то, что какой-нибудь легкомысленный человек, забежавший сюда за фунтом колбасы и белым хлебом.

— Фунт колбасы? Завертывать не во что!—кинет ему недружелюбно служащий, из-за спины которого с полки на вас иронически посмотрит оберточная бумага.

В базарные дни к вечеру обыватели растаскивают друг друга по домам или дерутся. Драки бывают буйны: по выражению следователя, «железными перчатками кроют головы так, что не починишь». Случается, что в ночи и зарежут человека. Ночи черны, непроглядны, фонари на улицах только еще нарождаются, электрификация идет трудно.

Пивной покупатель в большинстве—горожанин. Деревня «придерживается» самогонки. Самогонной волной занесло в камеру народного следователя переписку некоего мельника-спекулянта с его другом, бывшим председателем вика, носившим выразительную фамилию—Куриловкин. Из переписки видно, что Куриловкин все время стоял на высоте призвания, и даже в интимных отношениях с другом неуклонно помнил о своем председательском стуле, не спускаясь в письмах к мельнику до таких фамильярных подписей, как—«твой друг», «известный тебе» и т. д. Конец любой, самой приятельской записки всегда звучал вполне официально: *предволисполкома*.

«Григорий Иванович, всепокорнейше прошу вас, нет ли для меня хотя одной бутылочки.

С почтением к вам предволисполкома Куриловкин.

Очень нужно».

«Товар. Шмагину.

Если сумеешь, то приготовь 1 четверть перегонки и свари свинки и пришли за нами в волисполком—тогда дело выдет по-другому, если хочешь хорошего.

Председатель Куриловкин».

Письма достаточно выразительны и пояснений не требуют. Но для полноты картины необходимо упомянуть еще одно послание, в котором Куриловкин советует Шмагину не платить соввласти продналога и добавляет:

«...только ничего не говори, что я вам велел воздержаться (от уплаты. *Н. К.*), а то в *виде пропаганды не прошло бы*».

И здесь—официальнейшая подпись: председатель И. Куриловкин. Как не потускнеть рядом с яркой фигурой бывшего предвика заботливому милиционеру, экстренно об'езжавшему самогонные предприятия вверенного ему района с дружеским предупреждением:

— Завтра наш начальник явится—прячьте самогон!

Самогонщики прятали. На другой день после предупреждения начальник милиции с тем же милиционером об'ехал район и вынес из своей поездки такое впечатление, словно он побывал в нескольких обществах трезвости. Зеленым змием по деревням и не пахло.

Сила самогона здесь вообще велика и многостороння.

Лесной об'ездчик явился к мужикам с целью выяснить число и фамилии расхитителей лесоматериала, отпущенного на мост. Он уж и бумагу с карандашом достал из кармана, чтобы составить список преступников, когда обвиняемые пред'явили ему в качестве незаменимого оправдательного документа—четверть самогона. Обвинение отпало быстро и безбодзененцо, карандаш и бумага сконфуженно спрятались в карман,

и, если бы позже сам об'ездчик не «втыпался»—все было бы шито-крыто.

### Семейное собрание.

Эта трогательная история очень характерна для такого волчьего угла, где мешанская стихия нередко захлестывает и ответственных работников.

Председателя вика по каким-то соображениям отзывают в уездный город. И вот—тихий городок в этот момент так «ударяется в красноту», что постороннему, свежему человеку остается самому стыдливо принять окраску вареного рака.

Едва весть об отзыве председателя вика т. Ч. коснулась кумачевых ушей местного обывателя,—по городку, а особенно—по отделам вика прокатилась волна революционного под'ема. Не теряя минуты, служащие вика устраивают экстренное заседание в чайной-пивной ЕПО—в той самой, которая... На этом заседании выносятся постановления:

— Созвать, по случаю отзыва т. Ч., общее собрание граждан города и на нем вынести решение о задержании т. Ч., путем ходатайства перед соответствующими уездными органами, на занимаемом им месте, (Следует отметить, что вся эта история происходит... за несколько дней до перевыборов!)

Сказано—сделано.

Вечером в скромное здание театра стекаются горожане, и дело-производитель вика делает им типично-мешанский, елейно-хвалебный доклад о деятельности председателя, поминутно заглядывая в заполненный строками лист бумаги (речь, видимо, подготовлялась по всем правилам.) Ода заканчивается настойчивым призывом к обжалованию перед уездом отзыва т. Ч.

После делопроизводителя выступил... бывший становой пристав, а ныне и присно и во веки веков—*лишенный права голоса* откупщик мест на торговой площади.

— Укажите мне председателя лучше Николая Ивановича Ч.?—патетически зывал он, обводя аудиторию орлиным взором:—Нет и нет! Не может быть председателя лучше Николая Ивановича Ч.!

И, упиваясь собственным восторгом, гражданин, лишенный права голоса на выборах в совет, обронил фразу, в некотором роде потрясающую:

— Он, тов. Николай Иванович Ч., *вошел в нашу семью, как родной!*

Понимал ли т. Ч., какую аттестацию дает ему этой фразой бывший пристав,—не знаю. Знаю только, что председатель вика, стоя за кулисами, выслушал эти слова, как должное, а потом вышел на сцену и скромно заявил, что он очень рад был бы послужить в этом городке и впредь.

Неизвестно, чем кончилась бы трогательная история, если бы народный следователь не раз'яснил собравшейся кучке горожан, что они не в праве решать вопрос, в котором заинтересована вся волость.

Как бы ни было, после «семейного» собрания его инициаторы и виновник переключались на место предварительного экстренного заседания, т.-е.—в пивную ЕПО.

Первым пришел красноречивый делопроизводитель.

Спросил пива.

Вторым пришел бывший пристав.

Спросил пива.

Третьим пришел... т. Ч.

Спросил пива.

## Гнилые воды.

— У нас воды гнилые, от них зла много,—говорил мужик из-под городка.—Езы нашу реку попортили.

В самом деле, протекающая по волости река полна «езов»—дресных преград, сооружаемых рыбаками из ближайших селений. Благодаря этим сооружениям течение замедляется, вода летом то и дело «загнивает», и болотистые берега с каждым годом все больше мокнут и слабнут, подрывая местное хлебопашество. Крестьянство здесь, так сказать, в кабале у гнилых вод, и из этой кабалы может вывести только мелиорация. Она же, несомненно, явится и самым состоятельным врагом сибирской язвы, свившей здесь гнездо с 1907 года.

В 1907 г. в селе С. заболел сибирской язвой бык. Больной, он забрел в болото, увяз в нем и пал. Лишь через две недели люди набрали на труп, уже разложившийся (было очень жаркое лето). Ветеринарный врач отдал распоряжение вытащить труп из болота и сжечь. Но это оказалось очень затруднительным в виду крайней топки болота, представляющего собой берег реки. Труп же истлел до такой степени, что распадался клочьями. Его забросали землей и оставили в покое. А зараженная почва с ближайшей весной послала заразные культуры по течению реки.

Так стала волость очагом сибирской язвы. В 1910 году, в том же селе С. пало от этой болезни 75 голов скота. Крестьяне рыли могилы на скотском кладбище в очередь, по наряду. Заболевали люди. В больнице лажало до 150 чел. Эпидемия свирепствовала, и только прививки смогли остановить ее опустошительное движение. Вначале население, возбуждаемое знахарями, относилось к прививкам крайне враждебно, но вскоре убедилось в их пользе, т. к. с применением их и эпидемия и эпизоотия резко пошли на убыль.

После 1910 г. вспышки сибирской язвы никогда уже не принимали в волости столь угрожающих размеров. Но зараза, рассеянная по течению реки, остается в силе. Пастьба в болоте, где издох бык, до сих пор сопровождается заболеваниями скотины. Было семь случаев заболеваний и в минувшем году.

Около гнилых вод—источника многих зол—возникла недавно и поучительная «рыбья история».

Когда крестьяне ближайших к реке селений обратились в вол-исполком, по примеру прежних лет, за разрешением на ловлю рыбы езами,—они получили отказ. Река была сдана двоим частным предпринимателям из городка, бывшим торговцам,—с тем, чтобы они организовали ловлю рыбы «законными и безвредными способами». Подписав договор, один из предпринимателей является к мужикам и предлагает:

— Нужна вам река под езы? Берите!

— Да в кармане она у тебя, что ли?

— Не в кармане, а—в документе. Вот!

И, показав условие свое с исполкомом, назначает мужикам «божецкую» арендную плату по своему усмотрению.

Мужики—в вик:

— Почему нам не сдали, а спекулянтам—сдали?

— Потому, во-первых, что ловить езами убыточно для хозяйства волости, а во-вторых,—нам экстренно понадобились деньги.

— Да мы бы заплатили те же деньги, и—без задержки! А теперь М. сдает нам реку тоже для езов.

— А-а, так?

Исполком расторгнул договор с парой рьяных предпринимателей и отдал распоряжение начальнику милиции—выбросить из реки все езы. Рыболовные страсти остыли. Упорным молчанием отделалась виновница всей истории—рыба: как известно, она очень редко высказывает свое суждение о вещах и явлениях даже в тех приятных случаях, когда к ней тянутся ласковые руки спекулянта...

### «Где гостевали беды».

Село X. за последние 20 лет дважды выгорало почти на-чисто и однажды—наполовину. А лет пять назад здесь вдруг начали вымирать один за другим мужчины в возрасте 30—40 лет (желудочные заболевания, грыжа, тиф и т. д.). С того времени в селе осталось десятка два вдов, почему многие и зовут его—«вдовьем». Мужское население здесь состоит из овчинников-кустарей, уходящих на зиму на заработки, нередко в Сибирь и на юг. Многие из них принесли из низовых губерний интерес к садоводству и хотели бы ввести садоводство у себя, но это нововведение тормозится отсутствием руководителей.

Вековые предрассудки лежат прочно и грузно. Местная церковь по «праздникам» основательно нагружена молящимися.

Был недавно и такой случай:

Жена одного овчинника в отсутствие мужа, уехавшего «на сторону» на заработки, стала посещать ликпункт. Муж возвращается и узнает об этом. Загорелось мужнее сердце:

— Да рази эта порядок, чтобы баба грамоте обучалась? Ли-ик пу-ук, вишь ты! А вот я ей лик-то сворочу на сторону, да пука волос не оставлю—и будет лик-пук!.. Я ее о-бу-чу!..

Понятно, что после мужней учобы женщина встречу с целой стаей голодных волков предпочтет встрече с безобиднейшим школьным работником...

Беды, сыпавшиеся на село и ожесточавшие крестьян, делали последних тревожно-недоверчивыми, порождали в них какую-то особую настороженность. Особенно относилось это к замотанным нуждой вдовам. Бессильные перед стихийными несчастьями, они отводили душу на ругательской критике действий власти. Теперь в этом отношении произошел резкий перелом благодаря волжентделу. Последний, во время взимания продналога, оказал вдовам большую практическую помощь, организовав вместе с тем ряд живых докладов и бесед в селе. И теперь, приезд «женотделки» уже всякий раз является для вдов желанным, бодрящим событием.

— Двадцать лет, почитай, у нас только беды и гостевали,—говорила мне крестьянка:—Совсем мы силы решились. А как стали к нам из женотдела заглядывать—на ногах много крепче стоим.

### «В семенах заблудились».

В сельскую школу приехал агроном. В классе сумрачно: керосиновый свет не может одолеть темноту, идущую с улицы в окна. Полностью освещена только классная доска, к которой прикреплена лампочка.

Идет беседа о переходе на многополье. Агроном мелком набрасывает на доску таблицу шестипольного севооборота и постепенно подводит слушателей к картине, которую шестиполка (если она будет введена теперь) даст в 1928 году.

Крестьяне—в шапках, в полушубках—слушают внимательно, дымя цыгарками. Одного схватила грыжа; он молча ложится на парту у задней стены. Худощавый молодой крестьянин говорит огорченно:

— Нам на шестиполку только с будущей весны можно перейти, потому—у нас на ржаные поля овес зашел.

У сельчан с переходом—путаница. По совету агронома они перешли сначала на четырехполье. Потом появился какой-то доморощенный «агроном», раскритиковавший четырехпольный землеустроительный план и посоветовавший возвратиться к трехполке. Крестьяне возвратились и сейчас же раскаялись в этом. Тогда по совету того же «агронома» они делают попытку перейти на пятиполье. В результате получилась полнейшая неразбериха,

— Вот уж и не знаем, куда нам теперь переходить,—растерянно говорит тот же молодой крестьянин.

— А вы валяйте—на однополье!—иронически советует земляк из соседней деревни:—Закатите все в ярь, и—ладно!

По классу прокатывается волна добродушного хохота.

— Вам, товарищи, остается одно: пригласить землемера, чтобы произвел обмер для шестиполья,—говорит агроном.

— Это верно!

— Без этого не обойтись!

— Ну, только нам вот и землемер не помог,—раздается голос мужика из соседней деревни:

— Обмерял, тычков мы наставили, а теперь тычки эти ребятишки растащили. Весной, как пить дать, ругаться придется.

— Ну, а если на шестиполье перейдем—как нам семья-то чередовать? Об'ясните, тов. агроном, еще раз!

Опять скользит по доске мелок, намечая схему нового землеустройства.

— Ты в крупном масштабе нарисуй—понятнее будет!—звучит чей-то возглас.

Пожилый сельчанин слезает с парты, подходит близко к доске, к агроному, и через минуту щелкает пальцем по доске и повторяет, стараясь потверже запомнить:

— Здесь, значит, пар. Так. А тут—лен. Так. А ну-ка, пятую полосу обрисуйте!

Палец скользит по доске вниз, крестьянин для удобства опускается на колени, и к нему вскоре присоединяется другой. Грыжа «отпустила» мужика, лежавшего на задней парте: он встает и продвигается вперед, ближе к агроному.

— Об'ясняете вы хорошо,—говорит старик,—беда только в том, что весна придет—опять мы в семенах заблудимся. До кулачного боя дойти может. Табличку бы получить...

— Это можно. А землемера все-таки пригласите. Видите, как доморощенный «агроном» вас запутал: выгон после льну выходит... Дальше итти некуда!..

— Да уж... сам чорт не разберет!—соглашается крестьянин, отдыхающий от приступа грыжи:—Землемера выписывать—дело неминуемое. С нашим-то землеустроителем и впрямь на однополье сядешь!

## Жадный слух.

Среди лесов, где ночами воют волки, раскинулась деревня Онучево. Избы, в большинстве ветхие, запелены соломой или мохом. Если заглянуть внутрь их, то на многих стенах и потолках увидишь белые пятна «тараканьего мора». Борьба с тараканами обязательна для таких медвежьих углов так же, как и конечная тараканья победа. Деревня отброшена от волостного городка на двадцать слишком верст, и в ней досих пор живо деление на «барщины»—большую и малую. Если вы спросите встречного мальчишку, где живет такой-то крестьянин—он вам ответит бойко:

— А, вон, тутотка!.. В большой барщине!.. Видишь?.. Втора изба с естой стороны!

Утратив свой классовый смысл и запах, слово «барщина» превратилось здесь в понятие чисто-территориальное. Но вовсе выпасть из словаря онучевцев ему суждено, видно, лишь еще через несколько революционных лет.

Сегодня в Онучево выехали члены волостного исполкома на расширенный пленум райсоветов. Классная комната с убогой сценкой полна пропотелыми крестьянами. Доклады приехавших выслушиваются с самым напряженным вниманием, несмотря на то, что один из доклад-

чиков беспощадно замораживает слушателей обилием холодных цифр и такими фразами, как:

— ...вы, конечно, плохо информированы...

— ...земельная работа была в стадии полного затишья...

Обомшелый в глуши старик мучительно морщит и без того морщинистый лоб, теряясь в догадках.

— Работа, грит, в стаде была... Это как понимать, Семен, а?— заинтересованно шепчет он соседу:— Ровно как о пастушне-то у нас и речи не было... а?

А когда в докладе проскальзывает особенно неудобоваримая фраза,—слышится чей-то глубокий вздох и сокрушенный шопот:

— И чевой-та они по-русски не об'яснят, пра-а!

На прения естественно и незаметно легла окраска свободной беседы. Пожилей, «обстоятельный» крестьянин указывает на необходимость открытия в деревне акушерского, фельдшерского и ветеринарного пунктов. Из его выступления и из того, что оно встретило сочувствие остальных присутствующих, видно, как даже здесь, в седой глуши, меркнет вера в силу знахарства, в достоинство повивальной бабки и в пользу деревенских способов лечения людей и скотины.

— Пуще всего нам акушерка нужна,—говорит крестьянин:— Много у нас женщин помирает без помощи. Опять же и без фельдшерского пункта плохо. Заболел человек в одночасье по тяжелому, а на улице—стужа: в город его везти далеко, а на дом ехать доктор отказывается. И винить его нельзя,—полсотни больных бросать да к одному на сутки тащиться не резон.

Горячо волнует мужиков и вопрос об уничтожении в онучевских «барщинах» чересполосицы, которая держится только благодаря тому, что мужики все еще не знают, чем руководствоваться при перерезке земли. В их представлении до сих пор живы допотопные надельные меры—«ревизская душа», «тягло». Меж этих двух сосен заблудились крестьяне с своим настойчивым желанием избавиться от чересполосицы. Представитель вика указывает, что «ревизские души» и «тягло» отошли в вечность, и кратко знакомит собравшихся с советским законом о наделе.

Собрание затягивается надолго. Уже стемнело за окнами. На сцене, где сидят приезжие, горит свечка. Были попытки зажечь лампу под потолком в классе, но они закончились неудачей. Жарко, пахнет потом и мажоркой. Со стены смотрит на собравшихся Калинин.

— ...Ну, теперь, пожалуй, и расходиться пора!—по-домашнему говорит молодой крестьянин, когда все назревшие вопросы исчерпаны.— Жрать охота!

— Еще бы не охота!—готовно и весело отзывается его сосед:— с десяти часов утра сидим. В роде сочельника вышло.— Он встает и обращается к представителям вика:— Вы, товарищи, почаще к нам наезжайте. Очень жаждем послушать!

Собрание закончено. Школа пустеет. Мужики расходятся, расплываются группами и поодиночке, в темноте, среди волчьих лесов. Этими волчьими лесами и полями приехавшим возвращаться сейчас в городок—двадцать верст.

Деревенские оконца желтеют, как совиные глаза.

Под ногами—гололедица.

В ушах звучит нутряное, от земли идущее!

— Жаждем послушать.

### Культурные огоньки.

В городке всего два кирпичных дома. В одном из них верх занят избой-читальней. Среди векового мрака глухомана культурные огоньки разгораются медленно и трудно. И все же—разгораются. Избу посещают до 100 чел. в день. Здесь ведутся беседы, доклады.

Помещение сносное, но просят на покой некоторые «стенные украшения». Особенно относится это к нелепому портретному фотомонтажу, где Жюль Верн помещен рядом с Кропоткиным, Ключевский с... Фофановым, а вырванный из «Родины» «известный писатель и сельскохозяйственный деятель» Ромэр—с Максимом Горьким. Трудно представить кашу, более рассыпчатую, чем эта!

Самое живое место в работе избы—ликвидация неграмотности. Нужно было видеть, с какой гордой радостью уборщица исполкома, пять месяцев назад не знавшая ни одной буквы, показывала мне свою тетрадь, заполненную грамотными, уверенными строками! В ее гордости сквозил горячий порыв к культуре, кипение годами томившихся за семью печатями недряных сил. И несомненным достижением для людей,—вчера «не знавших аза в глаза», была постановка пьески «Непослушники» исключительно силами посещающих ликпункт: И пусть пьеску больше «сказывали», чем играли: это не мешало зрителям приветствовать наиболее понравившихся исполнителей искренними вызовами.

В избе порядочно хороших книг для взрослых, но ребятишки кормятся только сусальным и крепко потрепанным старьем.

В нижнем этаже здания, похожем на подвал, приютился отряд юных пионеров. Здесь неуютно, серо, и рисунки не в состоянии оживить стен, откуда смотрят пренаивно выполненные пионерами портреты Маркса. В стенгазете ребятишек много внимания уделяется вопросам религии. Иронически звучат частушки пионера, прикрывшегося каким-то псевдонимом:

Наши мамы и папаши,  
Они веруют в богов:  
Каждый праздник на коленах,  
У иконы лбом трясут.

Много бабушек в церкви  
У иконы молятся:  
Ты спаси и сохрани  
Мово пионершкя.

Каково родительскому сердцу!

Снабжается отряд нищенски, и пионерам часто приходится «кооперироваться» для покупки какого-нибудь карандаша или пера—это было недавно, когда они задумали написать пьесу из собственной жизни.

Плохо обстоит дело с театром, хотя имеется недурное театральное помещение, находящееся в ведении правления ЕПО. Правление, совершенно не заботясь об оборудовании сцены, ставит своей целью сдирание десяти шкур с каждой постановки. Валовой сбор со спектаклей редко превышает 10—20 рублей. ЕПО берет 50% валового сбора не только с постановок взрослых, но и с пионерских и с комсомольских. На улучшение сцены, разумеется, не остается ни копейки. И это в то время, когда все, что может служить так или иначе культурным целям, должно быть использовано полностью: ведь во многих городских домах и домиках до сих пор висят портреты царя со всеми его присными и такое ископаемое, как спиритуалист, не является здесь редкостью.

Люди, ведущие в волости культурную работу, говорят, что ее легче развить в деревне, чем в городке. Мужики отзывчивее на вопросы политики, они с интересом встречают каждого приезжающего к ним партийца, осьпают его вопросами, вступают в споры, целыми селениями засиживаются с ним по 6—8 часов.

Здесь же, в волостном центре, упорно цепенеет веками сложившаяся, косная стихия мещанства, и много нужно культурных сил, чтобы ее одолеть.

## II.

# Уральские рудники.

## Дорожный разговор.

По горнозаводской линии поезд шел с горы в гору. И густые леса по сторонам пути то взбегали вверх, на кряжи, то ужили вниз, в котловины. Из земли, подернутой робкой травой, мхом и кукушкиным лном, там и здесь буйно прорывались сланец и синевато-черный магнитный железняк—застылыми пластами, кусками, брызгами. И от руды ржавчиной краснела вода в канаве за линией. Местами каменно-рудяные откосы были очень высоки и круты, и поезд шел, как в туннеле. Сколько человеческих сил пробивало этот стальной путь в железняке и сланце? — Упорный край, крутой силы спрашивает,—сказал стоявший у окна парень из-под Вологды:—Ишь, сколько народу едет! Изю дня в день.

Вагон был полон тех полукрестьян, полурабочих, которых так много в губерниях Вятской, Вологодской, Пермской, Казанской.. Вся эта трудовая сила, притягиваемая магнитно-железнякавой грудью Урала, стекала по стальным жилам горнозаводской линии—к Надеждинску, Верхотурью, Богословску, Тагилу,—чтобы разлиться по рудникам, приискам, копиям, заводским лесозаготовкам, заводам... Среди едущих был большой процент татар. В конце вагона группа их тянула грустную, монотонную песенку.

— Тут не только людская сила—тут и машины нужны перво-сортные,—обращаясь как бы к самому себе, отозвался на слова парня сидевший рядом со мной инженер:—Богатства непочатый угол—сумей взять.

Видя, что инженер косвенно ищет себе собеседника, я выразил всем лицом внимание к его словам. Тогда он заговорил, обращаясь уже прямо ко мне:

— Вы подумайте: не считая минеральных и металлургических богатств,—одного леса какая уйма!.. И ведь на чем растет, чем питается?.. Весь—на камне, а—прет себе и прет. Одолевать, можно сказать.—Он поднял с пола выпавшую из метлы вагонного уборщика пихтовую веточку и растер ее пальцами. Запахло скипидаром.—А ведь это—тоже хлеб! Сытные камни, чорт возьми!.. Сейчас такую громаду людей кормят, а что же будет, если в них «нот» запустить? Тогда только успевай выгрести добренькое!..

В этот момент поезд подошел к станции Гороблагодатской при гор. Кушва. Здесь нужно было ждать пересадки целые сутки.

Инженер предложил:

— Хотите на Гору-Благодать пройти? По учебнику географии, вероятно, помните.

Я согласился.

На вокзале среди спящих бегала крыса. Когда инженер отворил заднюю дверь,—она мимо его ног прыгнула в мусорный ящик, увенчанный стоптанным лаптем и обрывком истертой шали.

В городке, где безмолствовал приостановленный чугуно-литейный завод, домики малы и копотно-темны снаружи, лишь окна, как всюду на Урале, пестрят обилием комнатных цветов. По улицам бродили свиньи и козы. В заводском пруду ребятишки ловили с плотины рыбу на удочку.

— Я, знаете, в свободную минуту помечтать люблю—о будущем,—говорил дорогой инженер.—Разверну горнопромышленную карту—и ну подытоживать уральские возможности. Вихрастый край,† непричесанный, буйный... Возьмите горы, леса: все громоздится, топорщится, наглыбилося, и глыба каждая—словно в натуре—вскочит вот сейчас и по лбу тебя трахнет. Этакую силу только машиной и взнуздывать, а то—или задавит или дичью своей человека опойт... А взнуздаешь—на обе полы Урал распахнется... Вот я к нему под полу и заглядываю мыслью. Я—оптимист. Я так думаю: еще пять-десять лет советской власти—у нас техника на такую высоту встанет, что за границей ахнут.

Мы входили в хвойник, вставший за городком. Среди сосен и пихт гуляла рабочая молодежь, ребятишки близ дороги ели «еловые ягоды». Свежим ветром рвались и летели откуда-то из глубины хвойника юные голоса, распевавшие:

«Как родная меня мать провожала»...

За хвойником открылась магнитно-железняковая Гора-Благодать с крутой и острой вершиной, выглядевшей дико и мрачно и приютившей на себе часовню рядом с чугунным памятником воуглу Чумпину, якобы открывшему здесь руду. Часовня пуста и без стекол, крест на ней сменен серпом и молотом. К вершине, лепясь к камню, ведет деревянная лесенка с шаткими перильцами; выпавшие из них крашеные боковинки мокнули в мутной воде большой ямы под самой лесенкой. Застоявшаяся вода лоснится конопляным маслом и в неисчерпанных котловинах рудничных разрезов. Вдали—густая глушь лесов, где Урал угрюмо скалит черные зубы иных вершин и где еще глубже та хищная красота, которой веет от Горы-Благодати.

— Сколько лет питала эта гора Кушвинский завод?—спросил инженер, садясь на грузную каменную глыбу, слегка затиненную мохом.—А и до сих пор она не окончательно исчерпана. Да, много, много еще тут потребуется «крутой силы» и техники!

И он щелкнул по вынутой из кармана синей светокопии горнопромышленной карты Урала, где белыми точками, кружочками, звездочками отмечены, были месторождения магнетита, асбеста, платины, золота, цветных камней, железа и т. д. Развернув карту, инженер повел меня от медного Таналяка до платинового Всеволодоблагодатска—Уфой, Челябинском, Екатеринбургом, Пермью—подытоживать горную сыть. По именам городов, селений, приисков, копей, рудников, заводов, по линиям, отметившим кованые русла железных дорог и извилистые жилы рек, привычно шла математически-точная мысль. И в словах инженера мне просвечивали многоцветные «полю» Урала, которые Республика неизбежно и широко распахнет силой рабочего по мере того, как в его руках будут накапливаться технические достижения.

— Сытный камень... Хорошо сказано! Лучше нельзя.

## У жгучих рек.

...Там, где стоит теперь один из крупнейших металлургических заводов республики, гордость Урала—Надеждинск,—некогда был сплош-

ной лес. И на улицах завода-города, именуемых по-василеостровски линиями, до сих пор можно видеть почерневшие и крепкие, будто закаменевшие, пеньки. Дома серы, мутны. За городом туманом навис дым углеобжигательных печей. И в этом сером окружении—изумительная красота человеческого труда, человеческой мощи. Она там, в глубине заводского двора, где остро пахнет горелым каменным углем, а лужи радужны от машинного масла.

\* \*  
\*

Газо-электрический цех—сердце завода. Волны энергии кровью растекаются отсюда по отделам. Огромный турбо-генератор, дымя паром, шумит густо и шатко—на все помещение. Плитчатый каменный пол дрожит под ногами, вибрируя. Когда выходишь из цеха—раз'яренный шум взнузданной стихии гонится по следам.

Вот и вершина домны, куда нужно взбираться по дюжине железных легких лесенок. От угольных складов по воздушной канатной дороге сплываются на вершину вагонетки с углем. С другой стороны похожий на лифт под'емник подает руду. Рабочие ссыпают его в раскрытую глотку печи, где крутится огонь. Взвивается рой искр, жидко процеженный пылью угля. Когда опускают крышку—пламя бурлит под ней и синевато-красными космами бьет из боковых отверстий. А внизу из печи золотым потоком льется расплавленный чугун в десятки огнеупорных форм. Тысячи пудов металла бушуют почти у самых ног рабочих, лица которых в красных отблесках кажутся бронзовыми.

Здесь, у жгучих рек,—люди скупы на слова, уверенно-быстры и точны в движениях. Обмен самыми короткими, отрывистыми деловыми замечаниями, и—только. Каждый миг—на учете. Каждый шаг связан с делом. Из отдела в отдел, из цеха в цех идет густая волна трудового тока.

В мартановском цехе мостовым электрическим краном медленно, осторожно подводится по воздуху под жолоб печи громадный разливной ковш, емкостью свыше трех тысяч пудов. Вот он установлен. Через четверть часа из него бьет золотисто-белый водопад расплавленной стали. Раскаленный воздух дрожит над ковшом, как ртуть. Отлетающие искры гаснут в железе и камне цеха мгновенно.

Расплавленный металл буен, но не шумен. Зато в прокатных цехах—треск и грохот. Вынутые из подогревательной печи, охорошенные на станке раскаленные железные листы, очень ровные и чистые, похожи на красное гладкое стекло. Двое рабочих обрезают листы. Мелькают шкивы, ремни льются. Лежат на полу вязанки железных обрезков, как приготовленный к переноске хворост.

В следующем цехе рабочие бросают болванку в разномерные «ручьи» грубо-прокатного стана, который долго мнет и тискает ее, растягивая и утончая. Огненные змеи вырываются из стана и, изгибаясь, ползают по полу, но рабочие щипцами ловят их и бросают в другой стан—обжимочный. Отсюда железные ленты молниями льются на пол—и их, еще красных, быстро скручивает в мотки мотальная машина. Жарко. В огромном баке плавает лед, охлаждающий кипяченую воду для питья. В яростных криках плененного металла меркнут редкие голоса.

Буйно кричат, скрежещут, грохочут жгучие реки в рельсо-прокатном цехе. Электрический кран поднимает огненную плиту-болванку, около двухсот пудов весом и, пронеся ее сажени три по воздуху, с материнской осторожностью кладет на грузные валы гролганга. Они тотчас начинают вертеться и катят жертву в обжимочный стан. Смятая в нем болванка выскакивает обратно, грохоча, словно в злобе и желании спрятаться от стальных об'ятий. Но меж валов медленно высовываются многопудовые пальцы, черные и властные. Они ловят болванку, поворачивают ее на другой бок и снова бросают в отверстие стана, с подшипников которого стекает вода, подаваемая для охлаждения. Эта игра в кошку-мышку продолжается несколько минут в трех станах.

Из отделочного стана по кованому руслу грольганга многосаженная рельса стремительно валетает вверх, в наклонную трубу, и, блеснув в отверстии трубы под самой крышей, также буйно и с грохотом падает вниз. А в другом конце цеха, сгоняемые по стальному настилу в правку и схваченные зубами канатных задержек, рельсы из золотых мгновенно становятся красными—будто от бессильного гнева...

\* \* \*

В старых уральских хрониках металлургические заводы именуются «заводами огненного действия». Огненная кровь течет по жилам надеждинских цехов. Взызданные человеческой властью и силой, извиваются у ног рабочих жгучие реки расплавленного и раскаленного металла, застывающие ежедневно в десятки тысяч пудов стали, железа, чугуна...

### В разрезе.

В многоярусной котловине рудничного разреза сочно пестреют полосы железистых глин—желтой, красной, коричневой, мутнозеленой, рыжей, белой. Если взглянуть сверху—котловина покажется выстланной коврами разных цветов и оттенков. Но ковры эти—жестче и крепче камня, и их с трудом рвут стальные острые кайла забойщиков, работающих на вскрыше. На дне разреза звенят рельсы рудничной дорожки под вагонетками, полными руды. Пологий под'емник тащит на стальных канатах платформу с вагонетками вверх, на бревенчато-досчатую эстокаду. Эстокада высока, дрожит под тяжестью руды и кажется неприглядным глазу неустойчивой. Но рабочие чувствуют себя на ней, как дома. И сочно звучит с эстокады молодой, задорный голос:

— Э-эй, катали, катать веселей!.. Не то—помогать слезем. Ключе-ев!

По уступам вскрыши ездит конница, развозя на двухколесных грязных колымажках груды пород с глиняных ярусов. Здесь работает много женщин, в красных, от глины, юбках. На промывке двое татар ворочают руду железными лопатами в жолобе, куда хлещет красноватая вода из тяжелой лопки - бутары. В верхнем устье бутары, глотающем сыпавшуюся из вагонеток непромытую руду, кипит грязная пена.

За полдень в небе расплескиваются жидкие серые облака, и тянет ветром. Запывая в котловину, ветер шевелит пламя небольшой теплоты на рудничной дорожке. В разных местах разреза рабочие сверлят породу винтовым буром. Прыгающий шум бурения разносится по всем уступам.

Сегодня в два часа дня палеж породы динамитом. К половине второго в мутнозеленую глину заложены патроны с короткими шнурами. Без десяти минут в два над штейгерской вспыхивает красный флаг, окна закрыты досчатыми щитами. По разрезу звучит голос штейгера:

— Бере-ги-ись!..

Котловина, минуту назад полная людей, быстро пустеет. Рабочие скрываются за борта разреза, за штейгерскую.

Прошли запальщики, размахивая дымящимися головнями, взятыми из теплоты.

— Береги-и-ись!.. Поджига-а-ай!..

Подпалены шнуры. Бегом скрылись штейгер и запальщики в котельную. В разрезе встает напряженная тишина. Пусто и глухо на железистых глинах—ни человека, ни звука. Кажется, самые вагонетки и забой замерли в ожидании взрывов...

Белые дымки вспухают у подожженных шнуров, мохнатыми клубами налипают на глину. Еще минута—и взрыв за взрывом раздирают воздух, жестко тараторя кусками и осколками породы по железным крышам котельной, насосной и компрессорной...

Динамит помогает республике выжимать из камня горную сыть.

## Угольная копь.

На дороге к Богословской угольной копи, словно порошок, толстым слоем лежит перетертый шлак, сухо шуршащий под колесами. На копи—медленный, затяжной, едкий пожар. Из черных, слоистых траншейных стен сочится здесь и там дымок, остро пахнущий серой. Насос неустанно бьет по ползучим огонькам грузными струями воды. Но подземное пламя растекается где-то там, глубоко под почвой, путями извилистыми и недоступными человеческому глазу...

— Поди, вот, нащупай его!—говорит заведующий копью.—Все лето промучаешься. Раньше осени потушить не надеемся.

Работе в траншее пожар не мешает. Кайло и лом в руках рабочих переговариваются неумолимо, вгрызаясь в черные недра. У рабочих лица и руки будто запачканы чернилами. Один, стоя на корточках на дне траншеи, где овсяным киселем застоялись лужи, умывается из медленного ручейка. Эсковатор, гремя и пыля, ссыпает пустую породу с вскрыши в угольные вагоны, к которым прицеплен уже паровоз, отвозящий отбросы в отвал. Ковши эсковатора ползут по ферме непрерывно, похожие на черепах.

Уголь здесь—местного значения. Он не годен для дальних перевозок, т. к. под действием дождя или ветра быстро портится, становясь щелистым и почти таким же легким, как красный угольный пепел, перемешанный с глиной.

— Ну, а здесь он—большая сила!—замечает заведующий:—Нам этот пожар—нож острый.

Поднимаемся на торфяную полосу меж двух траншей. Здесь в пеньках бродят овцы. Снизу доносятся удары стали о камень. Запах серы гонится по следам.

...Пожар на копи—это все же не такое зло, как грозные лесные пожары, опустошающие леса из года в год и слизывающие нередко целые полосы хлеба на лесных полянах. Летами в воздухе пыльной синью застаивается хмара, пахнущая горько и сухо. Собираются отряды для гашения пожара, огонь как-будто вырывают с корнем в одном месте, а он выскакивает, словно из земли, в другом, напористый и прожорливый...

## Поселок.

В шести верстах от станции узкоколейки—рудничный поселок. Живут здесь в большинстве потомки каторжан. Бревенчатые дома в поселке—красовато-смуглы от загара многих лет. По сторонам дороги—телеграфные столбы линии высокого напряжения с грозными надписями: «Осторожно! Смертельно!» Проволока выдерживает здесь двадцать две тысячи вольт. На поселковой площади мрачной тенью прошлого застыла деревянная часовня на-крови—на том месте, где в крепостное право поролы и запарывали людей.

Жители поселка одной ногой стоят в рудниках, копаях и заводах, другой—на пахоте. Пашня дается трудно—одолевает лес. Со всех сторон наступает на человека зеленокрылое войско елей, пихт, берез, сосен... Каждый аршин земли, занятый теперь посевом, взят с бою. На месте теперешних поскотин когда-то щетинился хвойник, а позже серела мертвая роща пней. Нужно было выкорчевать каждый пенёк, каждый корень, поливая их потом и крепкой руганью. И неудивительно, что старый землероб гневно говорит о лесном засилье:

— Ишь, чортова махина... корнем удавить норовит человека!..

Там, в лесной тени, таится и злой враг скотины—медведь. Скотина здесь пасется без пастуха, с утра разбредаясь из поселка; на шею каждой коровы, лошади, козы вешается бубенец-«ботало». Прозрачный звон ботал изо дня в день переговаривается в лесу. Медведь спокойно хо-

зьяйствует в этом «стаде», безнаказанно задирая коров, телок—до тех пор, пока на его след не нападет со своей испытанной двухстволкой и верной собакой глухонемой охотник Федор—загадка поселка. Он—почетнейший и искуснейший на всю округу медвежатник, перестрелявший двадцать три медведя. В его маленьком домике—обилие звериных шкур и чучел. Об охоте своей рассказывает он жестами и мимикой с большой готовностью и удовольствием. Его тонкие, вздрагивающие ноздри и пристальные серые глаза говорят о звериной остроте обоняния и зрения, вознаграждающей отсутствие слуха. В лесу охотник приноживается ко всем запахам с таким же напряжением, как и его собака.

Жене глухонемого кто-то сказал, что ее муж является героем труда и может получить медаль и денежное вознаграждение—стоит только обратиться в исполком с заявлением, что он убил свыше двадцати медведей. Женщина соблазнилась этой возможностью и отправилась в уездный город. В исполкоме на ее заявление ответили:

— А он состоит членом союза охотников? Разрешение на охоту у него есть?..

— Не-е, какó разрешение!.. Мы и не слышали...

— Ну, значит, не медаль ему нужно... Мы, вот, пришем милиционера, чтобы он отобрал у него ружье...

Когда жена передала глухонемому знаками разговор в исполкоме—охотник пришел в бешенство и красноречивыми жестами показал, что он перестреляет, как медведей, два десятка милиционеров, если те явятся за его ружьем.

Но из города никто не явился. В исполкоме учли глухоту и немоту Федора и сделали для него исключение из общих правил охоты, предоставляя воевать с медведями без всяких письменных на то разрешений.

В поселке есть семьи, в которых до сих пор живут предания о предках, говорившихся в шахтах на цепи. Связь с рудниками, шахтами, заводами накладывает на характеры печать смелости, прямоты. Из прошлого вошло в современность—буйство, эта старая «праздничная отдушина» шахтера, работавшего в невероятно тяжелых условиях.

— Большими годами привыкли мы душу в драке отводить,—сказал мне старый забойщик.—Слепота в этом, по-вашему... А нам—разе отвыкнуть?.. Вы—народ молодой, жись под мозги подмять хотите. А у меня, к примеру, глыба в грудях встанет—и голова темна. Сердце в мозги ударит—и дум не подобрать.

В воскресенье я видел на площади драку. Жители одной половины поселка сходились с жителями другой. Сверкали налитые кровью глаза, развевались всклоченные бороды... В стороне стояла группа молодежи, в центре которой парень лет двадцати, с открытой грудью и без фуражки, неистово размахивал руками, прижав к земле ногой мяч:

— Товарищи!.. Вот видите!.. Видите, какая дикость и нелепость!.. И все отчего? От нашей невысоты призвания. Видите, какие наши отцы и какая ихняя сознательность! И, значит, должны мы их день и ночь пилить и переделывать. А заместо того половина нашей молодежи в драку влезла. Товарищи!

Милиционер тщето призывал к порядку дерущихся. Кипящая волна людей подкатила к часовне на-крови, ударилась в нее—и старуха, крикнув, осыпалась пыльными деревянными ребрами...

Только к вечеру угомонилось слепое пламя побоища. Бойцы расходились в обильных синяках и с окровавленными губами, довольные тем, что отвели душу...

Вечер был тепел и тих. На опустевшую площадь пришли футболисты. И типина, смятая молодыми голосами, затрепетала, как потревоженные воды. Мелькали крепкие ноги, тугой мяч прыгал через деревянные кости часовни на-крови...

## Библиография.

**Ольга Форш. «Одеты камнем»** (таинственный узник Алексеевского рavelина). Москва 1925 г. Изд. «Россия». Стр. 199. Ц. 1 р. 50 к.

Вышел отдельным изданием печатавшийся на страницах журнала «Россия» исторический роман Ольги Форш.

Появление этого романа надо всячески приветствовать. Перед нами воскрешена жизнь и трагедия одного из замечательных русских людей.

По приказанию Александра II, без суда и следствия, был заточен в Алексеевском рavelине юноша—офицер Михаил Бейдеман. Несмотря на то, что на втором десятке лет своего пребывания в рavelине Бейдеман лишился рассудка, он не был переведен в больницу и еще несколько лет содержался в десятиаршинной камере рavelина.

До сих пор точно неизвестны прямые причины особой жестокости Александра по отношению к Бейдеману, но документы, уцелевшие в архиве III отделения, подсказывают, что царь отлично понимал, с каким врагом он расправился.

Письма и прокламации Бейдемана свидетельствуют о необыкновенной силе его ума, железной воле и пылком темпераменте; это был решительный, убежденный революционер-террорист, не успевший осуществить своих богатых замыслов. Он не сразу поддался чудовищному гнету полного одиночества в сырой камере рavelина, он пишет царю из рavelина смелые письма, полные жгучих

оскорблений императора и его правительства.

Бейдеман умер на 6-м году пребывания в сумасшедшем доме в Казани, куда был, наконец, отправлен после 20-летнего заточения в рavelине.

Фабула романа основана на условном знании интимнейших сторон жизни Мих. Бейдемана.

«Одеты камнем», это *якобы подлинные* мемуары 83-летнего генерала Русанина, товарища Бейдемана по Константиновскому военному училищу, генерала, пережившего 3 императоров и очутившегося в обстановке революционного времени.

«Одеты камнем»—это исповедь измученного совестью Русанина, когда-то предавшего своего друга Бейдемана из ревности и из зависти.

В повествовании все время чувствуется особый исторический аромат, чему не мало способствует осторожная стилизованность «мемуаров». Следует отметить серьезную и прудуманную разработку темы, богатство исторического материала, прекрасный язык и умелый тонкий анализ психологии Русанина, почти неожиданно для самого себя ставшего предателем.

Роман Ольги Форш—ценный вклад в художественную литературу по истории русского революционного движения.

Нам должно быть особенно дорого прекрасное напоминание о таком исключительном человеке, как Мих. Бейдеман, трагическую память которого надо беречь и чтить.

**Н. Степной. Перевал.** Роман. Изд. 2-е «Коллектива раб.-крест. пис.». М., 1925 г. Ц. 1 р.

«В это время из соседней комнаты раздались звуки пианино, первые, *страстные*, замирающие *аккорды*. Лицо Елены *вспыхнуло*, *глаза загорелись*. А звуки будто звали к радости, забвению, на дерзкий поединок со смертью. Елена вдруг сорвалась с места и *поплыла* (!) в каком-то странном, своеобразном танце... Что *зажгло*, что привело ее в *экстаз*? Все ее *легкое* тело тянулось ввысь, *казалось* необычайно *легким* и ослепляло *безумным танцем*. Это был *вихрь*, *ураган*, готовый все смести... Казалось, в ней давно проснулись ее предки—дикари и теперь *кружились* (II) в иступленной пляске... Глаза смотрели и не видели, лицо горело не то молитвенным *экстазом*, не то зовущим обольстительным грехом. *Это была жрица огня, умирающая в безумной жертвенной пляске...*» Пусть не подумает читатель, что мы привели эту цитату из какого-нибудь бульварного изданияца Каспари или из Вербицкой: нет, это—из романа Степного, изданного коллективом рабоче-крестьянских писателей в 1925 г.! И эта «жрица огня, умирающая в безумной жертвенной пляске...» заведует детским домом! Место действия—один из городов Поволжья, время—1921 голодный год... А вот портрет коммуниста, комиссара, влюбленного в «жрицу огня»: «Высокий, но согнувшийся, весь ушедший в мысли. Суровое лицо аскета, бесстрастные, будто ушедшие куда-то вдале, глаза,—все говорит, что он далек от окружающей жизни», и т. д., и т. д. Ходульнее этого трудно что-нибудь выдумать. Я позволю себе привести несколько примеров потрапясающей бевграмотности автора «Перевала»:

«И не хотелось уходить от берега, хотелось сидеть, впитывать в себя краски дня, вечера, ночи, утра, как *интонации улыбки* любимой женщины» (стр. 5).

«Вопрос был *зоологический*—одеть, обуть...» (??) (стр. 8).

«Он один возглавлял целый отряд и с ним подотделы, хотя для видимости были все живы»(!).

«Кора, жолуди, трава, помет,—то о чем раньше питались только звери, теперь в этом питании конкуренция» (стр. 61).

«Елена сидела возмущенная. *Губы* гордо сжались *в их устах*»(!!!) (Стр. 90).

Мы могли бы без конца умножать эти примеры, но думается, что хватит и приведенных цитат. Автор романа не умеет правильно написать слова «проект», «атрибут» и т. д., и т. д.

В романе нет ни одного живого места, на каждой странице мелькают «экстазы», «иллюзии», «аккорды», «струны», «мечты» и тому подобный сор.

С трудом верится, что книга написана человеком, имеющим какое-то отношение к литературе. Все действующие лица романа награждены «горящими глазами», траги-комическими жестами и сложными «переживаниями».

Вот парочка «афоризмов», взятых нами из романа наудачу:

«Вы что задумались?—прервал молчание губпродкомиссар. Александр бросил:

— *Вон безблуды... Я думаю, мы похожи на них!*».

«Женщины, они перестают светить, как Ивановы червячки; они меркнут, когда обыденная жизнь коснется их. Так, как и червячки (?), когда их возьмут в руки». Совершенно бесомощный во всех отношениях, автор при описании пожара пустил в ход все известные ему *слаголы* (люди *смотрели* на клубы огня, *всматривались*, *хототали* (??) в лицо и *видели* в них гневную стихию и т. д.), но желаемого результата все-таки не достиг.

В конце книги с провинциальной претенциозностью приведены похвальные отзывы о романе из «газет и журналов». В одном из них «профессор Португалов» наивно намекает на родство героев «Перевала» с героями... Достоевского...

Издана книга крайне небрежно. На заглавном листе, как место издания указано: «*Москва*. Коллектив рабоче-крестьянских писателей», на титульном листе—«издание автора»—*Вязники*—Владугблин.

Н. Б.

**Н. Крашенинников. Целомудрие.** Роман К-ва «Современные Проблемы». Н. А. Столяр. 1925. Москва. Ц. 1 р. 50 к. Стр. 266.

Хотя автор и считает, что книга его — «одна из самых важных и нужных по теме», этот типичный «дамский роман» в обложке с обойным рисунком и с характерным посвящением Л. В. Собинову появился с явным опозданием лет на 15.

Читателю книга Крашенинникова, конечно, не нужна и, может быть, только какой-нибудь доморощенный «фрейдист» найдет в ней материал для написания очередного «психоаналитического этюда».

Обладая очень скудными художественными средствами, писатель не сумел справиться с поставленной им темой «целомудрия», несмотря на то, что перечень «сочинений Н. А. Крашенинникова» показывает нам, что у автора налицо некоторый «стаж» в этой области и довольно «специальная» установка («Девственность», «Сказка любви», «Барышни» и т. д.).

Книга посвящена детству до доверительности «целомудренного» Павлика, на каждом шагу сталкивающегося с «тайнами пола», непристойно обнаженными средой.

Ограниченность Крашенинникова не позволила ему ввести роман в широкое русло, как, напр., у Льва Толстого, а «специальная» установка на «половой вопрос» (кстати сказать, трактуемый им очень несовременно) помешала ему дать художественно ошутимое изображение наивного мальчика, столкнувшегося с жизнью, как, напр., в «Давиде Копперфильде», Ч. Диккенса, и потому читатель не может сочувствовать «горю» Павлика, когда тот узнает, как рождаются люди; сентиментально-слезливый мальчик, с ужасом принимая эти «открытия» с другой стороны, с пытливым сладострастием расширяет свой «кругозор».

Композиционно роман совершенно неудачен, зачатки сюжета не разработаны, в романе почти вовсе нет действия, и он, в сущности говоря, кончается «ничем».

Написан роман крайне небрежно, нередко встречаются такие фразы:—

«Люблю» — повторяет Павлик и улыбается, и по душе его прокатывается чудесная картина».

Встречаются примеры тавтологии (тайнственная тайна и т. п.). Язык бледен, бескровен. Высшей смелостью образной речи Крашенинников считает такие «шедевры»: «От жары уши у всех были красны, как поджаренные кренделя». «На сердце у Павлика светлеет и темнеет» — по нескольку раз на странице на протяжении всей книги.

Н. Б.—ский.

**Иван Грузинов. Избяная Русь.** Издательство «Современная Россия», Москва 1925 г. Стр. 47.

Тематика книги сообщена в названии. Не деревенская Россия нашего социального дня, а Русь, — Русь избяная, скифская, где «всяческая была и небылъ», где «так легко упасть и не проснуться». Начав от Блока (стих. «Русь», «Монголы», 4-я часть стих. «Из дерева»), Грузинов в развитии блоковской темы пошел по своему оригинальному пути, но — в этом его несчастье — путь привел к трудно читаемым, нудным стихам. Поэт только штрихует, зарисовывает: его стихи — случайные наброски деревенской nature morte, т.-е. вещей избы, русского пейзажа, изображенных, как самоцель, без намека на сюжетную связь. Писать о предметах потому, что они — рядом (пространственно) — единственный принцип авторской композиции. Поэтому стихи не действительны, темп их замедлен, и кажется, что вообще они не имеют конца. Тягучему движению стихотворной строчки еще более способствуют мелочные подробности в описаниях, как, например:

На скатерти с полудня разлегалась  
Ржаная, как свинец тяжелая, нов-  
рига.

А рядом с ней вздыхает томно рых-  
лый ситник.

В широких блюдах деревянных  
Вареная говядина разбухла и раз-  
мякла... и т. д.

Люди? — редкая, случайная тема Грузинова. Но если его внимание обращается к ним (стих. «Монголы»), получается то же мертвое описание — человеческая nature morte. Изредка в стихе видно лицо

самого поэта, отрекающегося от современности («Не всели мне равно—стеклянный век, железный, деревянный»).

Грузинов — имажинист. На этом основании культура образа — основное задание его работы. Чаще задание выполнено — образы запоминаются:

Ползет туман оврагами трущоб-  
ными к селу,  
Потеря у колодезного сруба.  
Пушистый хвост жовесил на пле-  
тень...

Иногда они тяжелы своей сознательной надуманностью («багряным ежиком выкатывает месяц», «луна жеребой растопырилась» — влияние Есенина), но их строение — и прибавить еще: синтаксис — доказательство того, что мы имеем дело с поэзией, а не с прозой. Автор широко использует прием свободного стиха (им написано  $\frac{3}{4}$  сборника) и легко может заставить читателя задуматься над определением материала.

Книга «Избяная Русь» — на любителя вспоминать поросшее быльем. Безритменные, описывающие стихи вообще только при условии очень острых тем в состоянии заинтересовать читателя, но вместо остроты Грузинов дает описания, рассказ, перечисление мертвых вещей. Поэтому все, знающие живую русскую деревню и занятые вопросами ее быта, пройдут мимо этой книги.

Издана книга прекрасно — хорошая бумага, и... даже портрет автора.

*В. Красильников.*

**Н. Асеев. Поэмы.** Гиз. Л.-М. 1925. Стр. 88.

Асеев — весь в современности. Из шести вещей, вошедших в книгу, только одна («Королева экрана») развернута в плане чисто лирическом. Остальные можно разбить на две тематические группы: 1) авангардная революционная борьба («Двадцать шесть», «Электриада», «Черный принц» — вещи, несущие прежде всего агитзадание); 2) арьергардная борьба со старым бытом, старой психологией и т. п. («Автобиография Москвы», «Лирическое отступление»). И о подлинной, не поверхностной связи поэта с «незнающим тления поколень-

ем», ведущим к «Каиру» (Красному Интернационалу Республики) и строящим новую жизнь, — говорит именно то, что, не забывая о цели — мировой революции, зовя к ней, он не отворачивается от тыла, от задания трудно и медленно строить новую жизнь.

Пора ломать старое в быту, — говорит Асеев:

Если жизни стоячей  
Не подрежет плача —  
Сколько не будут маячить  
И пылать купола?

(«Автобиогр. Москвы».)

«Лирическое отступление» (тема которого — любовь, уродуемая, калечимая условиями неизжитого еще старого быта) является горьким протестом против мучительной медленности перерождения жизни. Но не к отчаянию, не к отступлению перед уродливыми пережитками зовет Асеев, а к борьбе с ними. — И если некому, то станем первыми под этой жирной грязи взмах... — И в обращении к Москве, еще не порвавшей окончательно со старым:

Клялась громом и верою —  
Клянись шинелью серою...  
.....  
Тот час пока не был еще:  
Тебя мы, взмывши роem,  
И вылуцим и вылопим  
И снова перестроим.

И эта бодрость и уверенность в победе доминируют во второй половине книжки, тема которой — авангардная революционная борьба.

Асеев вполне владеет средствами стиховой выразительности и великолепно пользуется ими в соответствии с заданием. Четкая организация ритмически-звуковой стороны баллады «Черный принц», передающая ритм движения судна и работы паровой машины; взволнованный синтаксис «Лирического отступления»; сколоченность, выразительность «Прощальной речи» («Автобиография Москвы»), — все это вполне соответствует авторскому заданию и обеспечивает сильное воздействие на читателя. Стихи этой книги — современные, и потому актуальные, мужественные, насухо выжатые от всего стертого и водянистого — образец живой и упругой, крепко организованной речи.

*Я. Фрид.*

«Багряные льды» (альманах). Изд. «Земля и Фабрика». 1925 г. Стр. 160.

За исключением Александра Жарова, представленного одним небольшим стихотворением, налицо, очевидно, дебютирующий в литературе молодой человек, — по крайней мере, имена все незнакомые. С сожалением приходится констатировать, что сборник в целом мало интересное литературное явление.

Центральной вещью, по объему, является повесть Бориса Рeginова «Штурм».

Автор рассказывает о жизни русского солдата на французском фронте во время империалистической войны, о грубости русских офицеров, с ненавистью душивших всякую весть из России о совершившемся перевороте, о десанте «союзников» и о борьбе рабочих масс с белогвардейскими бандами на северном фронте и т. д. Материал новизной не блещет, но все же, если повесть была бы хорошо сделана, она могла бы читаться с известным интересом. Но написана она плохо. Было бы с полбеды, если автор, как новичок, не владел бы в совершенстве литературной формой. Это вполне естественно и простиительно. У многих начинающих писателей непосредственность и свежесть принесенной в литературу индивидуальности искупают всякие стилистические и технические недочеты. Борис же Рeginов сразу начал со словесного манерничанья, с дурного вкуса вихлять под... «попутчиков».

Первая строка повести уже начата с фальшивой подражательной нотки, без труда обнаруживающей Пильняка 19—20 года с его любовью к монотонному, возвратному лейтмотиву:

«Я и опять он, Рекутов.

Оба мы, как и все, кого ставили в шеренги под винтовку, были вырваны войной, как штыпором, из заводского цеха...».

Страничкой дальше:

«Я и опять он, Рекутов. Сегодня я его видел. Он попрекнует чутко, в глазах старый острый огонь...».

Несколькими строчками ниже: «Я и опять он, Рекутов, с острым огнем в глазах...».

И так дальше в этом же роде.

Язык убийственно вычурен и бескусен, примеры наудачу:

«Иглами кололись события...»

«Северное ребро города, локотое, в асфальтовой глади, сползло к стыку, где звонкий от твердости берег снюхался с морем...» «Месяцы текли напрасно, как с воятика дождевая вода...»

И так — на каждой странице.

А очень жаль, что автор жеманно картавит, имея в запасе такие живые строки:

...«И, казалось, они на солдат не похожи, а на пчел, забранных в ковш при заморозке, мало подвижных и слабых...»

Приличен, но бледен отрывок из повести «Сносари» Александра Зуева, посвященный первому периоду гражданской войны.

Зато радует маленький рассказ Шубина — «Якунько».

Мало ли написано у нас всяческих повестей и рассказов из первых лет революции?! А вот не забудешь крестьянского мальчика Яшку, на котором тупой офицеришка вымещает всю свою бессильную злобу на большевиков. Жив остается в памяти забитый и запуганный солдат, тайком от начальства кормящий голодного Яшу вкусной пищей с барского стола. Хорошо сделана сценка расстрела в лесу этого мальчика.

Прост и сочен язык рассказа, для которого характерна фраза:

«Назобался Яшка, ложку зализывает...».

В совершенстве владея чистым, сочным народным говором, автор не щеголяет удачным словом, не сует его под нос читателю, а кладет его цветным и радостным пятном на бумагу точно невзначай, случайно. И оттого, что мастерство художника легко и незаметно растворено в рассказе так, что на его поверхности не видно шва, нарочитости, «Якунько» читается и перечитывается с большим удовольствием, заставляя ждать от Шубина новых, ценных произведений.

На этом собственно рассказе и кончается радостный просвет в книге.

Стихи так же неинтересны, как и проза. Хорошие строчки попадаются у Ивана Молчанова в стихотворениях «Недавнее» и «В апреле». Но нестерпимо молодое чванство, отнюдь

не похожее на жизнерадостность, в стихотворении «Октябрь»:

В рядах Свердловши звенят,  
Пройдусь по Дмитровке я гордо,  
И лакированные Форды  
Дадут дорогу для меня...

Никто из серьезных деятелей революции не скажет: «пройдусь по Тверской я гордо...».

Не мешает быть чуть-чуть поскромнее и бойкому свердловцу Молчанову.

Полюн «ложно-классического» пафоса отрывок из поэмы «Гибель капитана» Владимира Жилкина:

«...Душа была черна. Кипел мой гнев  
рабочий...  
Кому не мой резец величье, славу дали  
Но час борьбы настал. И вот я, гордый  
зодчий,  
В бурлящий буйный гул властительно  
вскричал...

Такие строки были бы хороши в устах провинциального трагика лет 10—15 тому назад. Теперь это не убедительно.

Проще, непосредственнее стихи Онежского-Бурлака. Но и в них поэзии как искусства, а не как настроения, немного.

Т. Ж.

**Шьер Амп. Рельсы.** Перев. с франц. И. А. Лихачева, под ред. Г. П. Федотова. Изд. Фонетического института языков. Л. 1925. Стр. 244.

Во Франции в 1910 г. произошла большая забастовка железнодорожников. Несмотря на то, что стачечники требовали немногого: повышения минимума заработной платы до 5 франков в день—забастовка была жестоко подавлена буржуазией при помощи правительства. Эти события дали основной материал для книги Ампас«Рельсы», в которой с большой силой рассказано о страданиях эксплуатируемых рабочих, их борьбе за улучшение положения и беспощадном разгроме. Технические познания и опыт, приобретенные Ампом на службе на железной дороге, позволили ему изобразить условия труда и быт рабочих очень ярко и всесторонне.

«Рельсы», как и другие книги Ампас, входящие в серию «Человеческий труд»—книга о промышленном предприятии, а не об отдельных людях. Это сближает манеру Ампас (вообще связанного во многом с натурализ-

мом) с манерой Золя, тоже писавшего о бирже, о рынке и т. п. Но книги Ампас гораздо менее соответствуют читательскому представлению о жанре романа. Ампас видоизменяет этот жанр, обновляет его свежей струей журнализма. Любовные и иные интриги он оставляет другим романистам, а своей задачей ставит глубокое изучение и неприкрашенное изображение различных областей труда. Он не заботится о четкой сюжетной линии. Место «героев» занимает коллектив, объединенный общими трудовыми процессами. Отдельные люди интересуют Ампас прежде всего, как профессионалы,— хотя изображаются им в общем не односторонне. Главная же особенность его писательской манеры—введение нового, неиспользованного до него романистами, материала. Профессиональный жаргон, технические термины (которыми иногда язык слишком загроужен), цифры, рапорты, циркуляры, выписки из устава придают точному, по-хроникерски сухому, далекому от приподнятости повествованию характер документальности и убедительность научного исследования. Сильное впечатление получается в результате оперирования данными статистики, в результате сдержанного, сосредоточенного изложения событий.

Эту книжку, в которой достоинства художественного произведения с неожиданной силой соединяются с достоинствами трактата, нужно рекомендовать не только, как ярко передающую эпизоды из истории рабочего движения, но также и как «производственный роман», художественную книгу о промышленном предприятии, которую ждет современность и которой русская литература пока не дала.

Я. Фрид.

**Жюль Ромэн. Собрание сочинений,** изд. «Academia», ЛГР, 1925, т. II «Чья-то смерть» роман, перев. и предисл. М. Лозинского. Стр. 160. Тир. 3.500 экз. Ц. 1 р. 10 к.

Т. IV «Люсьена», роман, пер. и предисл. А. Франковского, стр. 304, тир. 4.000 экз., ц. 1 р. 40 к.

В романах Жюль Ромэна традиционный герой или вовсе отсутствует

или совершенно недействен; также слабо выражены и другие персонажи. Это не такой-то и такая-то, определенные лица, а просто—человек, мужчина, женщина.

Центр тяжести его романов в описании мыслей и чувств группы людей, возникающих по поводу какого-нибудь события.

В этом отношении характерна «Чья-то смерть». В ней детально описываются вызванные смертью машиниста Годара чувства и мысли его отца и жильцов того дома, в котором он умер.

Годар—мнимый герой, сам по себе он не важен, важна только его смерть и отражение ее в окружающих и близких. Этим объясняется и неопределенность заглавия: «Смерти Годара» автор предпочитает «Чью-то смерть». Чью—все равно, для него безразлично, кто умер, он наблюдает лишь преломление ее в живых.

Безразличны для Ромэна и определенные персонажи, в романе действуют безыменные: швейцар, соседи, пассажиры дилижанса и поезда, молодой человек, мужчины и женщины и люди вообще.

Если он и назвал умершего Годаром, то лишь для того, чтобы хоть сколько-нибудь конкретизировать сюжетную схему и не дать роману растечься.

Второе и последнее в нем лицо с именем—это отец Годара, наименование которого, тесно связанное с сыном, неизбежно, в сущности же он просто отец и не важно кого, а важно, что отец умершего.

Так сделана «Чья-то смерть». Читается она без скуки. Ромэн не всегда сохраняет свое основное устремление, но пишет легко. Излишняя последняя, VIII глава, выпадение которой было бы незаметно.

«Люсьен»—скромный роман учительницы музыки, в нем герои имеют уже более конкретные очертания, но так же, как и в предыдущей книге, главным образом, чувствуют и размышляют.

Обратясь к традиционному любовному сюжету автор написал скучную историю, едва ли кто найдет в себе силы дочитать ее внимательно до конца.

Приемы Ромэна—развернутое описание чувств и мыслей—в своих

книгах одинаковы, но «Люсьену» они только загромаждают, быть может, потому, что сама по себе ее тема притупилась и, кроме того, развитее ее автором для любовных романов не так уж ново.

У нас первый перевод Жюль Ромэна, если не ошибаюсь, появился года три-четыре тому назад (роман «Донного-Тонка»); выпуск собрания его сочинений, предпринятый изд. «Academica» едва ли нужен, без ущерба для читателя можно ограничиться изданием лишь некоторых отдельных его произведений, как, напр., та же «Чья-то смерть».

Предисловия, данные М. Лозинским и А. Франковским к той и другой книге, незначительны, но совершенная краткость Лозинского, сводящая написанное им почти на нет, заставляет отдать предпочтение ему.

Переводы выполнены удовлетворительно.

Интересны два рисунка Н. Акимова к «Чьей-то смерти», на обложке и в тексте, в особенности последний, изображающий серый сумеречный колодец с лестницами.

Изданы книги хорошо.

*Борис Анибал.*

**Джозеф Конрад.** «На взгляд Запада». Роман. Перевод с англ. А. В. Кривцовой. Изд-во «Земля и Фабрика». М.-Л. 1925. Стр. 503.

«На взгляд Запада»—роман о России, написанный не для русских. Если прибавить, что в нем описывается убийство «полномочного министра П.» (вероятно, Плева), изображаются типы революционеров, провокаторов, жандармов (генерал Т.—Трепов?),—ясно, какой интерес он должен вызвать среди русских читателей. И нужно сразу сказать, что интерес этот будет оправдан, несмотря на некоторые недостатки романа.

Уже та особенность, что эта книга о России написана английским писателем и предназначена «для Запада», заставляет ожидать ляпсусов. К ним следует отнести в высшей степени странное изображение русских революционеров, живущих в Женеве (в начале XX в.), которые почти все смахивают или на шаржированные фигуры кукольного театра,

или на маниаков. Может быть, также слишком аффектирован убивающий министра революционер народо-вольского оттенка, студент Халдин. Отсутствие других грубых ошибок объясняется отчасти тем, что Конрад—русский поляк, до 15 лет жил на юге России, следовательно не совсем иностранец, а также тем, что бытописательских целей он не преследовал. Вместо того, чтобы давать быт, он, начиная с заглавия романа, неустанно повторяет, что Россия—совсем особенная страна, что жизнь под гнетом самодержавия—нечто с трудом постигаемое европейцами, что психологию русских революционеров (и даже вообще русских) очень нелегко понять и т. д.,—то-есть старается дать своим европейским читателям общее полуклассическое впечатление о России, которое само по себе послужило бы достаточной мотивировкой событий, описываемых в романе. Этим облегчается выполнение авторского задания—изображение психологии. И Россия и русская революция сами по себе Конрада, в сущности, не интересуют: это—декорация. (В плане такого стороннего полуклассического подхода к России понятно и шаржированное изображение революционеров). Конрада интересует выяснение того, как человек, находящийся в известных условиях, может начать переживать болезненный психологический процесс, и как этот процесс должен развиваться.

На центральной фигуре романа—Разумове—Конрад подробно и убедительно прослеживает, как бедный, самолюбивый студент-карьерист, сам того не желая столкнувшийся с революционерами, может сделаться провокатором. Разумов в равной степени боится столкновений с «беззаконием самодержавия» и «беззаконием революции»—столкновений, которые помешали бы ему добиться независимого положения в жизни. И когда Халдин, «устраив» министра, приходит именно к Разумову, который обладает способностью внушать всем доверие, Разумов чувствует себя очутившимся между молотом и наковальней «двух беззаконий», и инстинкт самосохранения заставляет его сделаться провокатором.

В связи с заданием автора, ответственность романа слаба. Но психологический процесс развивается с захватывающей стремительностью, напоминающей романы Достоевского. Влияние Достоевского видно даже на многих деталях (как состояние полубреда, в котором Разумов пребывает на протяжении целых глав; как его покаяние в конце романа) и на таких конструктивных приемах, как введение специального рассказчика, играющего третьестепенную роль,—как развертывание важнейших эпизодов при помощи почти непрерывных напряженных диалогов. Конечно, по общей сложности роман с вещами Достоевского сравнить нельзя: многое, по сравнению с манерой последнего, упрощено, приложено (в том числе и сюжетная-сложность). Но основная линия,—психологический процесс, переживаемый Разумовым,—развивается четко, напористо и неизбежно—от начала его провокаторской деятельности до исповеди перед революционерами.

Удачное выполнение этого основного задания—анализа условий, создающих одну из возможностей появления провокатора и анализа психологии такого «провокаatora поневоле»—придает роману ценность.

Следует приветствовать перевод этой книги; жаль только, что ей не предпослано критической заметки, которая помогла бы широким читательским массам разобраться в отношении Конрада к России и к русской революции.

*Я. Фрид.*

**Шервуд Андерсон. Торжество яйца.** Издательство «Современные Проблемы». 1925 г. Пер. с английского Охрименко. Стр. 256.

«Рассказы—это люди, сидящие на пороге жилища моего ума». Так начинает Андерсон свою книгу. В дальнейшем, на протяжении всего сборника, автор развертывает эту формулу. Шаг за шагом показывает он читателю свою человеческую галерею, обнажает подсознательное состояние своих героев-экспонатов.

Каждый человек живет своей особой жизнью. Между людьми нет никакой связи. Отсюда бессюжетность его рассказов.

После авантюрных романов и трюковых фильм, которыми нас в таком изобилии снабжает Америка и Европа, данный сборник производит несколько необычное впечатление. Автор показывает, что под внешней пестротой и динамичностью жизни Америки скрывается полная статичность и пустота. В ней копошатся несчастные людишки, сдавленные капиталистическими тисками.

«Людские жизни—это молодые деревья в лесу. Их думают выходящие растения»—говорит врач в рассказе «Семена». По-разному стараются Андерсоновские герои освободиться от этих будничных наростов. Один погружается в специальность фотографа (Вальтер Сэйс), другой влюбляется в «неведомую» девушку («Братья»).

Борьба с гнетом происходит не во имя усложнения своей внутренней жизни, а во имя свободного выявления полового комплекса, который «задерживается» внешними условиями.

Очевидно, автор хотел показать нам, что, несмотря на всю сложность и утонченность культуры в буржуазном мире, человеческая личность совершенно обнищала, свернулась до первичных инстинктов. Но, к сожалению, эта тема оказалась только в пределах замысла из-за следующих недостатков.

От писателя, специально занимающегося человеческой психологией (такоса его декларация), мы вправе требовать, во всяком случае, живых людей. В данном же сборнике вместо людей проходят какие-то силуэты, правомерно думающие и действующие по лекциям о психоанализе Фрейда. Все они похожи друг на друга, одинаковы и их поступки. При этом нет психологической обусловленности между действующими лицами и их действиями. Автор не смог, наряду с упрощением личности, сохранить ее индивидуальную яркость, что с таким мастерством сделал, например, Чехов.

Композиционно рассказы в большинстве случаев слабо выполнены и растянуты. Все рассказы построены на одном приеме, который нетрудно обнажить (что доказывает слабость мастерства): дается одно какое-нибудь психологическое затруднение

героя или героини; вокруг них располагается вся нужная ситуация.

Наиболее удачно выполнен рассказ «Братья». Дан он в виде обрешенной новеллы. Проблема—стремление освободиться из-под гнета обидщины. Хорошо дополняет рассказ осенний пейзаж, охватывающий его колыбом. К сожалению, этой новеллой почти все мастерство автора исчерпывается.

В предисловии к сборнику Левидов назвал творчество Андерсона стоящим на грани искусства и психоаналитических документов. Нам кажется, что автор эту грань перешел и добросовестно подыскивает примеры для подтверждения Фрейдской теории.

В заключение: как бы ни были хороши в общественном смысле стремления художника, но если материал для их выявления черпается из психологических теорий, а не из органического подхода художника к человеку, то полученное произведение не будет иметь художественного, а следовательно, и общественного значения. Это целиком подтверждается данным сборником, имеющим только чисто научный интерес, как любопытный документ отвлеченного подхода художника к жизни. Для обычного читателя данная книга не представит никакого интереса.

*Е. Рамм.*

**Альберт де-Пувурвиль. Китайские тени.** Изд. «Пучина». 1925 г. Пер. с французского Георг. Павлова. Стр. 137.

Книга Альберта де-Пувурвиль—яркий продукт буржуазного общества. Господствующее сейчас на Западе увлечение Востоком, экзотикой, интерес к оккультным наукам ярко отразились в этой книжке. Автор, взяв трудную тему: отображение быта китайского народа и не выполнил ее. Покорный требованиям западного читателя, Пувурвиль, вместо действительности дал ряд анекдотов о китайцах-контрабандистах, о мандаринах и их женах, о французских офицерах. И... ни одного слова о китайском рабочем, крестьянине.

В предисловии автор обещает показать «современные фантомы-тон-

кинские отношения», но, к сожалению, это остается только обещанием: он сводит все «франко-тонкинские отношения» к любви французского офицера и жены китайского ученого («Зверь и вода», «Жест-обличитель»). Смею думать, что «франко-тонкинские отношения» тут совершенно не при чем. Во французской литературе автор имеет своих предшественников в лице Лоти, Фаррера и др. Та же идеализация восточной мудрости, та же трафаретная экзотика с неизменным курением опиума. То же нежелание видеть действительность такой, как она есть, не прибегая к розовым очкам.

Рассказы неинтересны не только тематически, но и формально.

Автор в своем предисловии говорит, что отдельные рассказы книжки тесно связаны между собой тем, что объединены общим героем Бали.

Это единственная, чисто внешняя, связь рассказов, не имеющих общей фабулы. Некоторые из этих рассказов представляют лирические размышления, которые для автора служат дополнительной связью — «белыми нитками общих мест», — как говорит он в предисловии.

Из целого ряда скучных и неинтересных рассказов можно указать лишь несколько довольно удачных по содержанию и своей отделанности. («Жест-обличитель», «Зверь и вода», «Язык», «Контрабандист»). Сделаны они сравнительно удачно. Но все же и они не лишены недостатков. Очень часто мы встречаемся с полным неумением пользоваться литературными приемами: действие не развивается, рассказы статичны. Это объясняется тем, что в основу рассказов берется или анекдот, или случай из жизни, не дающий возможности развернуть действие. Альберт де-Пувервиль умеет, не давая конкретного портрета, а только обрисовывая одну какую-нибудь мелкую деталь, дать нужного ему героя: «И пальцы его, привинченные к бездействию во время бесконечных размышлений над Лао-Ицзы и Конфуцием, увенчаны непомерной длины ногтями, которые составляют гордость их обладателя». Можно было бы привести много примеров, когда дается одна характерная особенность внешности, а весь

остальной облик дорисовывается из действия. Прием удачный для небольших рассказов. Пувервиль довольно умело пользуется фабульным материалом: он умеет, взяв из фабулы все самое нужное, сгустить краски до максимума впечатлений. Но, к сожалению, автор ни одним приемом не умеет пользоваться до конца. Срывы есть и в лучших рассказах.

А в общем — пустая и упадочная книга. Современному русскому читателю такие книги не нужны.

*М. Рабинович.*

**Б. Томашевский.** «Пушкин». Современные проблемы историко-литературного изучения. Изд. «Образование». Лнг. 1925. Стр. 134. Тир. 3000. Ц. 80 к.

Вопросы пушкиноведения до самого недавнего времени были замкнуты в узком кругу пушкиноведов и историков литературы; широкий читатель был посвящен в них мало и, не имея руководящих указаний, растерянно блуждал среди бесчисленных исследований о Пушкине, не зная за что взяться. Многомные примечания и изыскания высочайшей стеной загораживали поэта от него и, мало в них разбираясь, он постепенно начал отходить от Пушкина.

Брешь в этой стене пробил в 1922 г. М. Л. Гсфман «первой главой науки о Пушкине», которой посвятил читателя в принципы текстологии поэта. Читатель, до того сомневавшийся, что важнее: сочинения ли Пушкина, или вопрос о том, часто ли у него бывали насморки, с появлением этой книги начал ощущать себя несколько увереннее и склоняться к тому мнению, что, пожалуй, сочинения важнее.

Разрушение китайской стены, загораживавшей поэта, неуклонно продолжалось: были выпущены канонические тексты некоторых отдельных произведений и, наконец, в прошлом году его сочинения в одном томе с тщательно отредактированным Б. Томашевским и К. Халабаевым текстом.

Насколько нам известно, это издание уже разошлось и в этом есть несомненное указание на то, что читатель, освобожденный от пут пуш-

киноведения, начинаст видеть и вглядываться в Пушкина.

Книга Томашевского еще более увеличивает брешь, пробитую Гофманом и посвящает читателя не только в вопросы текста, но и ориентирует в изданиях Пушкина, биографии, историко-литературном и теоретическом изучении творчества и его интерпретации.

Томашевский захватывает больший круг вопросов, чем Гофман, работу которого, отнюдь не умаляя ее достоинств, следовало бы назвать по этому «Введением», а работу Томашевского «первой главой науки о Пушкине».

В ней автор излагает не совсем блестящее состояние современного пушкиноведения.

Ни одного полного с каноничным текстом собрания сочинений Пушкина у нас нет, источники текста достаточно не изучены и не систематизированы, цельной и точной биографии не написано, историко-литературное и теоретическое изучение творчества разбилось на мелкую работу по отдельным вопросам, что же касается интерпретации Пушкина, то тут мы наталкиваемся на весьма вольные и очень своеобразные изыскания, не говоря уже о вещах совершенно диковинных, вроде работ профессора (?) Ермакова, не научившегося отличать хорей от ямба.

Не останавливаясь только на указании основных проблем изучения Пушкина, Томашевский пытается наметить и то направление, в котором следует искать их разрешения.

Так он, и вполне основательно, предлагает дифференцировать издания Пушкина, ибо полное собрание всего того что им написано, издание документальное, с приведением всех вариантов, черновиков и подробнейшими комментариями может быть использовано только специалистами, читатель в нем из-за деревьев не увидит леса, читателю нужно другое издание, исключительно «читательское», «имеющее ввиду эстетическую форму печатаемого материала».

Транскрипцию рукописей в печати никем не читаемую, сложную и неудобопонятную, Томашевский предлагает заменять, в случае необходимости, факсимильным воспроизведением документа.

Далее он выдвигает вопрос о самом тщательном чтении, изучении и проверке автографов Пушкина, сверке неавторитетных списков и строгом обследовании многочисленных открытий и догадок о «новых» произведениях Пушкина.

Касаясь интерпретации поэта, Томашевский отвергает так называемый метод «медленного чтения», выдвинутый М. Гершензоном.

Он прав, говоря, что при таком методе можно вычитать вещи вовсе удивительные. Пример тому стихотворение Жуковского, принятое Гершензоном, несмотря на медленное чтение, за «скрижалу Пушкина» («мудрость Пушкина»).

И постановка вопросов и их освещение сделано Томашевским умно и дельно, читателю его работа разъяснит современное состояние пушкиноведения и, как и работа Гофмана, откроет мало известные для него области.

На специалистов—об этом указывает автор в предисловии—книга не рассчитана, но и для них будут небезынтесны намечаемые в ней пути пушкиноведения; дополнения же, приложенные к работе,—вновь выверенные и исправленные Томашевским материалы «к истории изданий стихотворений Пушкина» и «к вопросу об участии Пушкина в литературной газете» Пушкиноведам несомненно будут необходимы.

Библиография литературы о Пушкине за годы революции, данная последним приложением, снабжена краткими пояснительными примечаниями по существу приводимых работ.

*Борис Анибал.*

**Б. И. Модзалевский.**—Пушкин под тайным надзором. (Очерк).—Труды Пушкинского дома при Росс. Академии Наук.—3-е изд., «Атеней». Лиг. 1925 г. Стр. 106. Ц. 90 к.

Настоящий очерк, напечатанный впервые в журнале «Былое» в 1918 г., и затем изданный отдельной брошюрой изд-вом «Парфенон» в 1922 г., появляется в новом издании вполне своевременно. Приближается столетняя годовщина восстания декабристов и данная статья проливает свет на то, как Николай I-й и его жан-

дармы расценивали роль Пушкина в этом заговоре. Его считали идейным руководителем возмущения и, если не послали, то только потому, что не было достаточных оснований привлечь его к делу. Зато его взяли под жестокою полицейскую опеку, из-под которой он не освободился и после смерти.

Жизнь Пушкина протекала под знаком III-го отделения», пишет Модзалевский. Истории этой опеки и надзора по документам охранного отделения, доступ к которым оказался возможным лишь после революции, посвящена данная брошюра.

Брошюра издана очень опрятно, являясь почти дословной перепечаткой 2-го издания. Приложен лишь именной указатель, присутствие которого очень полезно для справок.

**А. С. Пушкин.**—Избранные сочинения. Рабочее из-во «Прибой», Лнг. 1925 г. Книга первая: Медный всадник, Капитанская дочка—ц. 40 к. Книга вторая: Евгений Онегин—ц. 45 к.

Необходимо приветствовать, что из-во «Прибой» начало красиво и дешево издавать классиков.

К первой книге приложена краткая биография Пушкина, написанная П. Брантом, и очерк Г. Е. Горбачева: «Творчество Пушкина».

Мы впервые встречаем в современной Пушкинской литературе очерк о творчестве поэта, написанный с марксистским подходом. Поэтому мы особенно рекомендуем этот выпуск школам 1-й ступени, рабочим и сельским читальням и библиотекам.

В очерке Горбачева есть утверждение, с которым мы не можем согласиться. Он утверждает, что в 30-х годах Пушкин радикально изменил своим юношеским убеждениям и сделался консерватором. Это не так. Взгляды Пушкина хотя и подверглись к концу его жизни некоторым изменениям, в смысле примирения с существующим режимом, все же в основном его взгляды па свободу, крепостное право и самодержавие остались неизменными. Скорее Пушкин, с возрастом, стал осторожнее в высказывании либеральных идей своего века.

Ко второй книге избранных сочинений Пушкина приложены отрывки

из ненаписанной X-ой главы «Евгения Онегина». К этим отрывкам имеются популярные примечания, необходимые для их уразумения. К сожалению, нет вводной статьи, дающей объяснение типа Онегина и других выведенных в романе лиц.

Надо надеяться, что из-во «Прибой» продолжит свое начинание, распространит его и на издание других классиков русской и мировой литературы.

*Л. Бродский.*

**Т. Шевченко. Дневник.** Редакция, вступит. статья и примечан. И. Я. Айзенштока. Изд. «Пролетарий». Стр. ХХХI—288. Ц. 2 р. 50 к.

До сих пор дневник знаменитого украинского поэта полностью издан не был. Прежним издателям приходилось считаться со строгостями цензуры и, до известной степени, с общественным мнением: большинство лиц, упоминаемых в дневнике, было еще живо, и опубликовывать записи о них, сделанные Шевченко для себя, в ту пору не представлялось возможным. Только теперь текст дневника издан полностью, без всяких сокращений.

Редакция «Основы», напечатавшая в 1862 году первые отрывки из дневника, оценивала его в следующих выражениях: «Дневник — драгоценный по своей правдивости, простоте, искренности и по автобиографическим подробностям. Нам кажется, что Шевченко, как поэт, художник и человек, полнее всего высказывается в дневнике. Кто внимательно прочтет его от начала до конца, тот сразу составит себе живое представление об этом гениальном явлении, и не только будет удивляться ему, пораженный многосторонностью ума и сердца этого дивного самоучки, широтой и истинностью его взгляда на жизнь и искусство, но и полюбит его, как человека, со всеми его слабостями, которые он так глубоко сознает и в которых так откровенно сознается». Во всех дальнейших, до наших дней, упоминаниях о дневнике в печати ему дается столь же высокая оценка. Наиболее значительные и авторитетные отзывы о дневнике приведены во вступительной статье редактора. Знатоки украинской литературы

проф. Сумцов пишет, что дневник Шевченко, «как литературный памятник занимает видное место среди дневников; он может быть поставлен рядом с лучшими дневниками XIX столетия».

Дневник переносит нас в тяжелые и мрачные времена Николая I.

Арестованный в 1847 г. за принадлежность к «Кирилло-Мефодиевскому братству», которое якобы преследовало цели отложения Украины от России, Шевченко был отдан в солдаты в Орскую крепость, в Оренбургский край, а в 1850 г. переведен в еще большую глушь — в Ново-Петровское укрепление в Закаспийском крае. На приговоре по делу Шевченко Николай наложил резолюцию: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Этот запрет сыльному поэту и художнику был обоенно тягостен. Только через восемь лет, благодаря настойчивым хлопотам влиятельных друзей, ему удалось вырваться на свободу.

Шевченко начал вести свой дневник 12 июня 1857 г., по получении первых известий о своем освобождении, когда ближайшее начальство его ослабило по отношению к нему строгости военной дисциплины. Он уже давно не писал стихов, он мечтает о них, обдумывает планы будущих поэм и в дневнике как бы пробует писательскую руку. «На бездельи — записывает он — и это рукоделье... Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера».

Дело об освобождении рядового Шевченко медлительно проходило различные инстанции. С нетерпением и тоской ждал он бумагу из корпусного штаба, несущую ему свободу, которой уже полны его сны, часто упоминаемые в дневнике. «В сонной грезе» он видит «Петербург и свою милую академию», родину Украину. «Скоро ли увижу все это наяву?... О, моя бедная, моя прекрасная родина! Скоро ли вздохну твоим живительным сладким воздухом!..» Между тем дни, тянулись за днями, он по-прежнему был рядовым. И Шевченко в чаянии свободы, описывает мелкие события своей подневольной жизни,

скуку обывательского захолустья, сплетни, пересуды, зуботычины, шпицрутены, весь «омут нравственного безобразия», где для него кончается уже седьмой год. Офицер пропил кофту своей невесты. Будущий тесть «в пылу негодования» разбил ему чубуком голову. В результате начинается какое-то дикое следствие, невеста подвергается медицинскому осмотру в присутствии понятых, при чем лекарь, найдя ее неистлелую, острит над женихом. «Меразосты!» — восклицает Шевченко. Другой офицер украл у солдата десять рублей. Солдат ударил его и попал под суд, по приговору которого «прошел по зеленой аллее», т. е. после бития шпицрутенами, был сослан в арестантские роты.

Страницу за страницей исписывал Шевченко, изображая «гневдылице мерзостей», жизнь окружавших его «патентованных мерзавцев» из среды «христолюбивого воинства». «И нужно же было, — с горечью говорит он в дневнике, — коварной судьбе моей так ядовито посмеяться надо мною, толкнув меня в самый воюющий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было придумать, как сослав меня в отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моего невыразимого страдания!... Пьяный инженерный офицер пишет на Шевченко ложный донос об оскорблении. И Шевченко, стиснув зубы, должен был «спрятать гордость в карман» и просить прощения, иначе желанная свобода снова обратилась бы в более тяжелую волю: Шевченко — рядовой, а «мерзавец» — офицер, слову которого нельзя не верить.

Со страниц дневника глядит на нас не иконописная фигура «кобзаря Украины», а живой Тарас Шевченко, поэт и человек на фоне страшной и дикой николаевской России.

Дневник Шевченко ценен и как биографический документ и как литературное произведение. Издание снабжено обстоятельной вступительной статьей и обширными комментариями.

Н. Ашукин.

Редакторы

А. В. Луначарский.

И. И. Степанов-Скворцов.

Издатель: Издательство «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА**  
на литературно-художественный еженедельный журнал

# „КРАСНАЯ НИВА“

под редакцией А.В. Луначарского и И.И. Степанова-Скворцова.

**В 1925 г. подписчики „КРАСНОЙ НИВЫ“ получают:**

- 52** номера иллюстрированного журнала за 9 руб. и кроме того за пониженную плату следующие приложения:
- 4 книги сочинений С. П. Под'ячева с портретом автора за 2 руб.
  - 2 альманаха для детей младшего и среднего возраста за 2 руб.
  - 1 большой альбом „Искусство в быту“ пособие для семьи, школы и клуба, разм. 8×12 вершк. за 3 руб.
  - 3 больш. многокрасочных картины: Заседание III Интернационала—И. Бродского. Вечерницы—И. Репина. Барригада—Е. Делакруа за 4 руб.

(Подписываться можно на журнал со всеми 4 приложениями или на выбор — с 1, 2 и 3 приложениями).

Для годовых подписчиков „КРАСНОЙ НИВЫ“ с приложениями допускается РАССРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.

Годовая плата на журнал с приложениями (всеми или на выбор) рабочими, красноармейцами и крестьянами при коллективной подписке, а также народными учителями может вноситься ежемесячно равными частями в течение первых 10 месяцев.

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на журнал „КРАСНАЯ НИВА“ без приложений (52 номера):**

на 12 месяцев — 9 р., на 6 месяцев — 4 р. 75 к., на 3 месяца — 2 р. 50 к., на 1 месяц — 90 коп.

**Цена отдельного номера 25 коп.**

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

В МОСКВЕ — Главной Конторой „Известий ЦИК“, Тверская, 48, и в гор. отдел

В ПРОВИНЦИИ — Отделен. и контрагент. Гл. К-ры „Известий ЦИК“.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

**„ИЗВЕСТИЯ ЦИК  
СССР и ВЦИК“**

под редакцией И. И. СТЕПАНОВА - СКВОРЦОВА.  
9-й год издания.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на 1 месяц	1 руб. — коп.
„ 3 „	2 „ 85 „
„ 5 „	4 „ 75 „

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на ежемеслчнй литератури., научно-популярн. и политический журнал

**„НОВЫЙ МИР“**

(10 листов, 160 страниц в месяц)

под ред. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА - СКВОРЦОВА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

6 мес.	3 мес.	1 мес.
3 р. 50 к.	1 р. 80 к.	60 к.

Цена отдельной книжки 90 коп.